

Виктор Чигир

Утоление жажды

Роман

Блаженны [...] жаждущие [...], ибо они насытятся.

Матфей 5:6

Часть первая. 1796—1797 гг.

1

Дина Тмайнова была до того красивой, что замужние женщины — якобы в шутку — гнали ее от своих окон. Свататься за нее начали чуть ли не на двенадцатую зиму, но глава семьи, Леко Тмайнов, принимая и выслушивая очередных разодетых сватов, лишь качал в ответ крупной головой, ссылаясь сначала на юность дочери, а затем, когда она подросла и слово «юность» перестало быть оправданием, — на ее нежелание выходить за того или иного претендента. Долгое время Дина наивно полагала, что отец действительно считается с ее мнением и поэтому не спешила ни в кого влюбляться: надменно отмахивалась, когда какой-нибудь воздыхатель звал ее на тайное свидание; брезгливо морщила носик, если мать сообщала, что пожаловали очередные сваты; и совсем не принимала участия в ежевечерних девичьих шушуканьях, где с неизменным постоянством обсуждалось одно и то же — сила, удаль и внешность соседских парней. Отец же просто ждал наивыгоднейшей партии.

Фамилия Тмайновых была обширна, крепка, но — бедна. Четырнадцать работающих семей были разбросаны по аулам Мамисонского ущелья¹, но ни одной из них еще не удалось не то что разбогатеть, а хотя бы на время забыть, что значит забота о хлебе насущном. «Всю жизнь на шавеле», — говорили про такие семьи, впрочем, без всякого намерения оскорбить, так как ее величество нужда не выпускала из виду ни одного горца и частенько напоминала о себе даже самым зажиточным фамилиям. Леко Тмайнов не надеялся стать зажиточным за счет счастья дочери, он лишь хотел, чтобы

Виктор Чигир родился в 1988 году. По профессии — живописец. Участник XVII и XVIII Форумов молодых писателей России, стран СНГ и Зарубежья. Печатался в журналах «Урал», «Октябрь», «Дарьял» и др. Автор книги «Часы затмения» (2019). Живет во Владикавказе. «Дружба народов» публикует его первое крупное произведение.

¹ Ущелье на юге Северной Осетии.

нужда напоминала Тмайновым о себе как можно реже, по крайней мере, не чаще, чем другим фамилиям. И когда в его саклю явились сваты от самих Церебовых, Леко Тмайнов понял, что не зря, ох не зря он столько лет кряду отказывал достойнейшим, но — увы! — таким же, как и он, бедным людям, предлагавшим за его дочь в лучшем случае шесть коров, четыре из которых не несли, а две другие давали молоко только по праздникам, да и то через раз.

А рассчитывал Леко Тмайнов всего-то на десяток здоровых, не жадных на молоко коров. И он твердо знал, что Церебовы способны с легкостью предоставить ему такую плату. Неспроста же, думал он, по всему Мамисону ходит слух, будто Церебовы уже не поголовье считают, а стада. Конечно, рассуждал он дальше, слух этот могли пустить и сами Церебовы — побахвалиться захотелось, вот и пустили. Но слухи слухами, бахвальство бахвальством, а живут эти задаваки и впрямь небедно, получше многих. Так что десяток коров — это я еще по-божески...

Леко Тмайнов и не подозревал, насколько это по-божески.

С важным видом усадив гостей за стол, он сбегал до соседей, растолкал уснувшего на лавке у крыльца Кавдына Моураова и, крича, помогая себе жестами, объяснил тугому на ухо старичку, чего от него хотят. Кавдын не сразу, но понял — кивнул пару раз и деловито указал Леко на упавший посох: подай, мол.

Приведя старичка в саклю, Леко Тмайнов усадил его во главе стола, сел рядом, разлил по четырем рожкам араки собственного приготовления, три рожка передал гостям, четвертый оставил себе. Кавдын Моураов поднялся (за ним сейчас же встали остальные) и, держа рожок на уровне груди, затянул, точно песню, тост — длиннющий и невнятный. Изображая на лицах вежливое внимание, мужчины выслушали старичка, дождались, когда он опорожнит рожок, и по очереди добавили к тосту от себя. Пришлось говорить громко, почти кричать, чтобы старичок все расслышал. Затем — так же по очереди — выпили, одобрительно крякнули, смачно закусил влажной хрустящей зеленью. Леко Тмайнов подождал чего-то, не дождался и разлил по второму разу. Кавдын Моураов, уже малость охмелевший, снова затянул тост, после которого разговор чудесным образом начал потихоньку клеиться: поговорили о хозяйстве вообще и о видах на урожай в частности, посплетничали об общих знакомых, пожурили нынешнюю молодежь, которая, как водится, не та что давешняя, между делом выпили по третьему, и только тогда старший из сватов перешел к сути:

— Дочь твоя, Дина... Не пора ли ей завести собственную семью?

Леко Тмайнов покосился на задремавшего не к месту и не ко времени старичка и ответил:

— Пора, пожалуй.

Церебовский сват будто и не ждал другого ответа.

— Тогда называй, — говорит он, — свою цену, мы увеличим ее вдвое.

Леко Тмайнов заморгал.

— Да, да, ты не ослышался, — покивал сват с улыбкой.

Но Леко Тмайнов и сам знал, что не ослышался; в таком деле невозможно ослышаться. Вдвое! — думал он ошарашенно. Это ж целых двадцать голов получается! Где я столько размещу?.. Или, может, «дюжину» сказать? Не-ет, не удвоят они дюжины, будь они хоть трижды Церебовыми. Еще, не дай бог, передумают... Он суеверно отогнал последнюю трусливую мыслишку и сказал твердым, как ему показалось, голосом:

— Десять коров.

— Скромный ты, Леко, — благодушно отозвался старший сват. — Что такое десять коров? Да за твою Дину и дюжины не жалко! Удваиваем — двадцать четыре! Что скажешь, а?

— Скажу-у... — проямлил Леко Тмайнов и вдруг нахмурился. — Погодите-ка. Вы ж никого не назвали. За кого мне отдавать дочь?

— Как это — за кого? — очень натурально удивился сват. — За Заурбека Церебова!

Услышав имя жениха, мать Дины, Феруза, которая все это время тихонько прислуживала мужчинам, вытаращилась вдруг на мужа и изо всех сил замотала головой: не соглашайся, мол, Леко, ни за какие коврижки не соглашайся!

— Цыц, женщина, — негромко сказал Леко Тмайнов и оценивающе поглядел на сватов. — За Заурбека, говорите? — переспросил он.

Сваты молча кивнули. Тогда Леко Тмайнов запустил пятерню в бороду и задумался.

Заурбек Церебов... О нем ходили разные толки, один другого хуже. То он побьет кого-нибудь по пьяному делу, то его поколотят. То он в каком-то необъяснимом порыве щедрости начнет давать деньги в долг, то в столь же необъяснимом приступе жадности примется выбивать эти долги обратно. Ненадежный человек. Злой. Пьющий... Но — ничего не поделаешь! — богатый. За ним — весь род Церебовых, с ихними тучными стадами, тугими кошельками... с бахвальством этим обрыдлым, которое они почему-то называют высокомерием. Дине с ним будет сыто. Плохо, даже, может быть, очень плохо, но — сыто. Да и почему обязательно плохо? — спросил себя Леко Тмайнов, как бы оправдываясь. А вдруг поладят. Ей шестнадцать, ему чуть больше, — должны поладить! А ежели что не так, то Дина моя тоже не лыком шита, бойкая, даром что девчонка... Двадцать четыре коровы, подумал он восхищенно, а вслух сказал:

— Согласен.

— А? — проснувшись, громко переспросил старичок.

В тот же месяц — после небольшой сцены, устроенной Диной, ни в какую не желавшей выходить за Заурбека, — сыграли свадьбу. Дина Тмайнова стала Церебовой и переселилась из Тиба в Тли, в саклю, построенную специально для молодоженов.

Отец не ошибся — ей действительно было плохо. Заурбек дрых до полудня, плевать хотел на хозяйство и частенько пропадал где-то до темноты. Возвращался непременно пьяный, иногда побитый, но чаще — просто расхлюстанный и грязный. Дина не знала, что такое ласки трезвого мужчины. Первое время она, следуя наставлениям матери, разыгрывала из себя безотказную жену, души не чаявшую в своем благоверном, но Заурбек оказался не из тех, кто ценит семейный уют.

Высокомерный, хвастливый, наглый, он родился и вырос в полном достатке, многочисленные тетушки и дядюшки потакали любым его шалостям, он слишком рано усвоил все преимущества, которые дарует богатство, нажитое не им, но — в этом он был абсолютно убежден — для него. Старейшие из Церебовых, еще помнящие, как ломит спину после шестнадцатичасового рабочего дня, считали Заурбека неизбежным злом и именно они настояли на немедленной женитьбе этого праздного гуляки — глядишь, возьмется наконец за ум и перестанет позорить фамилию. Не перестал; женитьба против воли лишь обозлила молодого Заурбека. Теперь он кутил, бездельничал и устраивал скандалы явно напоказ, желая любыми средствами досадить родным, вынудившим его обзавестись женой, пусть даже и донельзя красивой.

Вскоре, однако, до него дошло, что это не так просто — досадить Церебовым, тем более если сами Церебовы не желали, чтобы им кто бы то ни было досаждал. Хваленое церебовское высокомерие, понял он, может распространяться и внутрь семьи, а это даже хуже, чем когда оно распространяется вовне. Ведь когда Церебов в упор не видит какого-нибудь захудалого Тмайнова — это одно, Тмайнов остается Тмайновым. А вот когда Церебов в упор не видит другого Церебова, то другой Церебов перестает быть Церебовым и приравнивается к Тмайнову, а это уже беда. Неудивительно, что после такого нехитрого умозаключения Заурбек стал срывать злобу на жене.

Первый раз он ударил ее без всякой видимой причины — и поразился не меньше Дины: как это, оказывается, просто и обыденно — поднять руку на женщину. После этого случая молодые супруги два дня не разговаривали и вообще избегали встречаться друг с другом глазами. Заурбек даже пить перестал, чем сильно удивил родню, да и не

ее одну — ни много ни мало весь Тли шептался и одобрительно прищелкивал языком: образумила, мол, Дина своего прожигу, вот что значит ЖЕНА. Но на третий день Заурбек снова где-то набрался и, вернувшись посреди ночи домой, ударил Дину опять — на сей раз уже ничему не поражаясь.

А чуть погода он вошел во вкус, развернулся и стал отыскивать различные поводы для экзекуций, а когда и если не находил — выдумывал их в меру своей жиденькой фантазии. Особенно дикие и нелепые поводы измышлялись им в разгар очередного запоя: «Т-тебя, — шипел он, придавливая Дину коленом к развороченной постели, — с-специально ко мне приставили, да? Ну, признайся: следишь ведь, доносишь... Смотри, вот про это не забудь донести! И про это не забудь донести! И про это!..» Дина была сплошь покрыта синяками, как барс — своими узорами. Лишь лицо ее Заурбек почему-то не трогал — то ли не желал портить такую красоту, то ли умышленно оттягивал момент «порчи», довольствуясь пока ее сладостным предвкушением... А может, просто опасался людских пересудов — ведь Дина никому ни словом не обмолвилась о своих неприятностях и по аулу ходила в наглухо закрытом шерстяном платье.

Она терпела. Несмотря на то что ее против воли сделали Церебовой, в жилах ее текла кровь Тмайновых, а Тмайновы умели терпеть. В терпении они черпали силу; сила эта накапливалась подобно тому, как накапливается снег на крутом горном склоне — медленно, понемножку, практически незаметно для неподготовленного глаза. И как накопление снега рано или поздно разрешается грандиозным и страшным в своей грандиозности сходом, так накопленная в результате нечеловеческого терпения сила должна была разрешиться нечеловеческой мощи отпором.

На третий месяц совместной жизни, или на семьдесят шестой день, если считать со дня первого, несмелого еще, как оказалось, удара; после восьмидесяти трех болезненнейших тумачков в живот, пятидесяти пяти подлейших толчков в спину, сорока двух оскорбительнейших пинков в различные места пониже спины и девяти аккуратнейших, тщательнейше выверенных пощечин — терпение Дины лопнуло. Когда поздним вечером на нее с нарочитой и привычной уже медлительностью замахнулась ненавистная волосатая лапа, Дина не стала втягивать голову в плечи и зажмуриваться, как делала это раньше. Вместо этого она неожиданно для себя самой цапнула со стола наполовину пустой кувшин араки и с каким-то рыдающим выдохомхватила этим кувшином по пьяной харе.

Кувшин лопнул точно так же, как секундой раньше лопнуло терпение. В кулаке у Дины осталась изогнутая, отшлифованная многими прикосновениями глиняная ручка. Некоторое время Дина ошалело смотрела на нее, потом перевела взгляд на мужа. Мокрый и совершенно трезвый муж, смешно и нелепо разбросав ноги, сидел на полу в луже остро пахнувшей араки и прижимал к уху ладонь.

— Ты что? — потерянно пробормотал он, сплевывая глиняный черепок, каким-то макарон попавший ему в рот. — Ты что? — требовательней повторил он, отнимая дрожащую руку от уха и глядя на ладонь. — Ты ж... ты ж мне кровь пустила, ведьма, потаскуха... шура ты тмайновская...

Он, видимо, намеревался побольнее уязвить Дину, но вызвал у нее лишь повод для гордости.

— Тмайновская, — произнесла Дина с улыбкой. — Именно тмайновская. И ежели ты, пес, еще раз посмеешь...

Она не успела ни договорить, ни толком испугаться. Издавши резкий горловой звук, Заурбек метнулся ей в ноги. Дина нерассуждающе выставила перед собой ручку от кувшина и вроде бы даже изловчилась ткнуть ею в основание мужниной шеи, но сейчас же забыла про это, так как пол вдруг вывернулся из-под ног и, точно тяжелой морщинистой ладонью, хлопнул промеж лопаток. Весь воздух вышибло из груди, и потемнело в глазах, несмотря на то что они были широко раскрыты. Дина попыталась

вдохнуть, но тут темнота перед глазами сгустилась и раскалилась, и в этой горячей и вязкой, как вар, жиже стали вспыхивать и потухать зеленоватые жалящие огоньки, от которых бросало в жар и вздрагивало все тело, и хотелось лишь одного — уползти, укрыться, забиться в какую-нибудь узкую мерзлую щель и там — заколоться в блаженстве... А потом огоньки вспыхнули особенно ярко, раз — справа и раз — слева от лица, Дина судорожно дернулась, затем вытянулась, обмякая, и вдруг услышала приглушенный шум: кто-то надсадно визжал в соседней комнате.

Ничего не соображая, Дина перевернулась со спины на бок, подышала, пережидая наплыв дурноты, перекатилась на живот, приподнялась, опираясь на локоть, но локоть заскользил, как по слякоти, и Дина плюхнулась щекой во что-то липкое и теплое. В соседней комнате всё визжали, это не давало покоя. Дина отлепила щеку от теплой мерзости, приподнялась, используя на этот раз обе руки, и тут увидела под собой красную лужу, а в луже — два человеческих уха с проколотыми для сережек мочками. «Уши чьи-то...» — отстраненно подумала Дина и вдруг напряглась в жутком предчувствии.

Сев на колени, она потянулась обеими руками к тем местам на голове, где по идее должны были быть ЕЁ уши, но ничего там не нащупала — лишь слипшиеся волосы да две дырочки, в которые при желании можно было всунуть по пальцу. Тогда она закричала изо всех сил и только через пару секунд с ужасом поняла, что совершенно не слышит своего голоса. А та, в соседней комнате, все визжала и визжала, будто не Дине, а ей отрезали уши.

Перед глазами вдруг возник Заурбек. Выглядел он донельзя довольным, даже радостным, но за три месяца совместной жизни Дина успела неплохо узнать этого пройдоху и видела, что Заурбек волнуется — глазки бегают, уголки ослабленного рта подрагивают. Дина посмотрела на его руки. Руки были перемазаны кровью, и в одной был зажат длинный кинжал — свадебный подарок Леко Тмайнова. Дина даже вспомнила, что говорил отец, когда вручал Заурбеку этот кинжал: «Держи, зятёк, — говорил он с нетрезвым добродушием, — в хозяйстве пригодится!..» Если бы Дина была в состоянии, она бы рассмеялась над этой извращенной иронией судьбы. Но сейчас она могла лишь плакать. И она заплакала, стыдясь и презирая себя за эту слабость.

Но я тебе еще покажу, с удушающей ненавистью думала она, сквозь слезы глядя на улыбающегося Заурбека. Придет время, и это тебе аукнется, думала она, с трудом поднимаясь на ноги и выпрямляясь. Я еще сотру эту паскудную улыбочку с твоих губ, думала она, шагая прямо по кровавой луже в сторону двери. Ногой сотру! — думала она, пиная дверь и выходя на крыльцо. Вот этой самой ногой! Ты еще узнаешь, как улыбаюсь я... Все твое церебовское отродье узнает, как улыбаются Тмайновы...

Уже у калитки что-то едва ощутимо стукнуло ей в спину. Дина остановилась и, обернувшись, посмотрела себе под ноги. Там — абсолютно белые на черной земле — лежали два ее уха... Дворовая собака по прозвищу Дзыкка вынырнула вдруг из сырой темноты, виляя хвостом, приблизилась, понюхала эти два кусочка человеческой плоти и, повернувши морду набок, в два приема заглотнула оба.

До немоты сжав губы, чтобы звуком не выдать своих чувств, Дина подняла заплаканные глаза. Заурбек стоял на крыльце в прямоугольнике тусклого желтого света и, лениво жестикулируя кинжалом, что-то говорил. Надменно. Поучающе. Дина ни слова не слышала, да и не хотела слышать. Какая, к чертям, разница, что он там болбочет? Этим вечером человек по имени Заурбек Церебов потерял право называться человеком и стал кем-то или, вернее, чем-то, что существует только по причине какого-то недоразумения, какой-то вопиющей природной ошибки, которую следует как можно скорее исправить, чтобы зараза не распространилась по окрестности.

Он стал болезнью, а Дина — лекарством. Или одним из ингредиентов лекарства.

Придя к такому выводу, Дина как-то сразу успокоилась. Удушающая ненависть сменилась холодной расчетливой злобой, и Дина вдруг отчетливо осознала всю

шаткость своего положения: несмотря на то что она беспрепятственно покинула саклю, жизнь ее все равно висит на волоске. Стоит только намекнуть на свою готовность расквитаться — и участь ее решена. Болезнь, принявшая облик Заурбека Церебова, довершит начатое. Так что разумнее всего — притвориться слабой, сломленной, не способной ни на какое сопротивление. Пускай, подумала Дина, мысленно махнув рукой. Недолго осталось...

И уронивши лицо в ладони, она сгорбилась и захныкала, уверяя себя, что это не по-настоящему, что, конечно, она притворяется, что так надо. Сквозь щелки между пальцами она видела, как болезнь в облике человека кончила свои разглагольствования, извлекла из недр бешмета пухленький кисет и принялась зубами развязывать узелок на шнурочке. «Курить потянуло? Ну-ну...» — подумала Дина и, не убирая ладоней от лица, вдавилась боком в калитку. Выйдя на дорогу, она споткнулась якобы случайно, брякнулась на четвереньки, похныкала, увязая руками в невидимой грязи, потом поднялась и, продолжая хныкать, поковыляла прочь от сакли. А когда сакля полностью скрылась во тьме и единственный зритель этого представления остался в дураках, она тут же замолкла, сошла на обочину, где грязь была посуше, несколькими уверенными движениями оторвала от своего платья длинный лоскут и кое-как перевязала им голову.

Боль только сейчас давала знать о себе в полной мере. Болела внутренняя сторона левого бедра. Болели оба локтя. Какой-то подлой, исподтишочной болью болели ребра. Но самое страшное творилось, конечно, с головой — ее будто огнем охватило. Дина ощущала изнутри редкие горячие толчки в те места, где раньше у нее были уши, и от каждого такого толчка она вздрагивала, словно кто-то, подкравшись сзади, огромными твердыми пальцами стискивал ей бока. А если напрячься и перемочь эти стискивания, то можно было услышать тот самый приглушенный визг, только теперь он походил скорее на свист и доносился как бы отовсюду сразу — справа, слева, с неба, из-под земли. Изуродовали, с неожиданной жалостью к самой себе подумала Дина. На всю жизнь уродины сделали... Чувствуя, что вот-вот утратит и без того хлипкое самообладание, она зажала рот ладонью и некоторое время стояла так, давя и затаптывая в груди заунывный звериный вой. Потом отняла руку от лица и побежала.

Пока улочка вела под уклон, бежалось легко. Под ногами плотноядно чавкало, чмокало, хлюпало. Многочисленные соседские окошки с грехом пополам освещали путь, а если и не освещали, то хотя бы не позволяли налететь на что-нибудь во тьме. Изредка из-под какой-нибудь калитки взлаивала собака, но Дина ни разу не шархнулась, как сделала бы на ее месте любая другая девушка, и собаки, каким-то своим умом понимая, что их не боятся, тут же замолкали, точно услышав хозяйский окрик. Однако Дине и до этого не было дела — до собак у нее больше не могло быть никаких дел. Уже на окраине аула из предпоследнего двора донеслись голоса — спорили два старика, спорили, по-видимому, давно и уже успели порядком охрипнуть. Не желая быть замеченной, Дина приостановилась, свернула в заросли репейника и, царапая лодыжки, обошла спорщиков по длинной дуге. «Я те говорю, — внушал в темноте один надтреснутый голос, — ровно шестьдесят лет назад это случилось — сошел и полсакли у Гаевых снес!..» — «Да не у Гаевых, упрямый ты осел! — раздраженно возражал другой надтреснутый голос. — Шестьдесят лет назад Гаевых здесь и в помине не было. Были твои, мои да полтора Кучиева!..» Нашли о чем препираться, думала Дина, выбираясь из репейника. У вас тут под боком женщину мучают, а вам — полтора Кучиева!..

Когда она спустилась к большой дороге, темнота сделалась до того беспросветной, что Дине невольно захотелось обратно в аул — к людям, к свету... да хотя бы к тем старикам! Но она тут же представила себе, как, выплакавшись у стариков, вернется в саклю, навсегда ставшую ненавистной, и как посмотрит в лицо, навсегда переставшее быть человеческим... Нет уж, решительно подумала она. Пусть лучше меня медведь заест в этой темнотище. И нащупав ступнями сначала левую, затем — правую колею,

она взобралась на небольшое возвышение между ними и, стараясь держаться на гребне, побежала в восточном направлении.

До родного Тиба было около двух верст — всего ничего, но для Дины это оказалось сущей пыткой. Темнота буквально сводила с ума. Плотоядные звуки, издаваемые грязью, превратились в какое-то наваждение. Слыша их, Дина постепенно дурела, словно от жары, веки опускались, отяжелевшая голова болталась, как привязанная, и Дине уже чудилось, что она не бежит, а топчется на месте, и даже не топчется, а давит голыми ступнями странный пружинисто-упругий виноград — тепловатые брызги летят во все стороны, склизкие виноградные внутренности застревают между пальцами, липнут к лодыжкам, а кислые испарения получающейся чапры, поднимаясь к лицу, лезут в глотку, туманят сознание, и уже невозможно заставить себя остановиться, одуматься, вылезти из этой дьявольской бадьи на дорогу и бежать дальше... И она остервенело давила и давила этот виноград, напряженно вслушиваясь в плотоядные звуки под ногами, и чем дольше она вслушивалась в эти звуки, тем отчетливей различался в них знакомый с детства голос, который с нудноватым упорством повторял: «Я дойду... я дойду... я дойду...»

И она дошла. Плотная темнота слева от лица, как гигантская ширма, поползла вдруг навстречу, оголяя слой точно такой же темноты, но уже с вкраплениями желтоватых мерцающих огоньков. Один, три, четыре, шесть... с каждым шагом огоньков становилось все больше, некоторые появлялись на уровне глаз, другие — чуть выше, были и такие, что загорались высоко над головой. Вскоре это напоминало застывший рой светлячков. Не сводя с него широко раскрытых глаз, Дина невольно ускорила, и тогда рой, не меняя своей формы, запрыгал у нее перед лицом, отчего Дина, испугавшись, рванула изо всех сил. Рой, все так же прыгая, начал потихоньку увеличиваться в размерах, а потом впереди послышался шум воды, и тут в каком-то восторженном, почти животном иступлении до Дины дошло, что бежит она не на огоньки, а именно к воде.

Она не запомнила, как очутилась у речки. Когда она пришла в себя, то обнаружила, что сидит, поджавши ноги, на каменистом берегу, коленями — в ледяной воде, пальцы на руках сведены, горло перехвачено, а та неодолимая жажда, которая играючи подчинила все ее существо, почти сошла на нет, и стоит сделать еще хотя бы один глоток (десятый? двадцатый?) — и жажда отпустит окончательно. Осознав это, Дина собрала ладони лодочкой, зачерпнула воды, поднесла к занемевшим губам и судорожно всосала. Вместе с чудовищной ломотой в зубах пришло сладостное облегчение где-то внизу живота. Желая продлить это облегчение, она опять зачерпнула воды, но новая порция уже просто не полезла в глотку. Дина готова была разреваться с досады.

— Ну, всё, всё, — сказала она вслух, досадуя уже на саму досаду. — Подымайся давай и иди...

Она попыталась подняться, но колени не разгибались.

— Слабачка, — сказала Дина с отвращением. — Как ты только досюда доперлась... Ну-ка, вытяни из-под себя ногу...

Она вытянула из-под себя левую ногу.

— Теперь обопрись на руки...

Она погрузила руки в воду и уперлась в скользкие камни.

— Теперь задирай гузно... Выше, выше! Кому ты тут сдалась, безухая...

Кое-как встав на четвереньки, она оттолкнулась руками от речного дна, утвердилось на корточках, потом с усилием поднялась на ноги.

— Теперь — иди, — сказала она и, шатаясь, пошла вверх по течению.

Огни Тиба — желтые прямоугольники, разбросанные тут и там, — горели впереди и справа. Дина довольно быстро взобралась на самый верх аула, миновала родовую башню Кадзовых и толкнула калитку отчего дома. Старая собачка Буча, высунув

мордочку из конуры, сейчас же признала позднюю гостью и полезла ласкаться. Дина, не глядя, отпихнула ее ногой, широкими шагами, все убыстряясь, пересекла двор, взбежала на крыльцо, рванула дверь и, ступив через порог, закричала на всю саклю:

— Гляди, Леко! Вот сколько на самом деле стоит твой достаток!

2

Выкрикнув эти слова, она вдруг почувствовала, что ноги больше не держат ее.

— Двадцать четыре... — пробормотала она, как подрубленная опускаясь на земляной пол. — Двадцать четыре коровы и два уха... Что скажешь? А, Леко?..

С темноты она не видела, как Леко Тмайнов медленно, деревянным движением поднялся из-за стола. Не видела она и того, как из-за отцовского плеча выглянуло испуганное лицо матери. Оцепенев, как в дурном сне, престарелые родители смотрели и не узнавали дочь. На их пороге сидело мокрое, подслеповато шурящееся существо, сплошь заляпанное черной блестящей грязью; голова у существа была обвязана кровавым тряпьем, из-под тряпья выбивались свалявшиеся войлоком нечистые пряди; разорванный подол бесстыдно задрался, босые голые ноги были белы, как у утопленника, и сильно исцарапаны, точно этого утопленника долго волокли за руки куда-то в гору. «Да разве ЭТО может быть Диной?!» — возопил кто-то внутри Леко Тмайнова, и он торопливо, заговаривая сам себя, подумал: нет-нет, это не Дина, не Дина, не Дина! Он уже почти убедил себя в том, что это и вправду не Дина, как вдруг Феруза с каким-то карканьем оттолкнула его и, простерши перед собой руки ладонями вверх, бросилась к порогу.

— Доченька... — пролепетала она, падая на колени рядом с Диной. — Доченька...

— Мама... — отозвалась Дина ноюще. — Мама...

Женщины нерешительно потянулись друг к дружке, обнялись и зарыдали в голос.

У Леко Тмайнова задергалось под глазом. Он придавил это место пальцами. Каким-то образом дрожь передалась пальцам. Он стиснул пальцы в кулак, но и кулак вскоре задрожал. Некоторое время Леко Тмайнов с тупым интересом смотрел на кулак — огромный, мосластый, белый от напряжения. Не так давно эта колотушка запросто валила с ног молодых бычков, а теперь — вот, трясется как у старикашки... Леко Тмайнов разжал пальцы, каким-то покорным движением снял со стены трофейную казачью шашку и, не говоря ни слова, вышел из сакли.

Женщины даже не заметили его ухода. Они всё рыдали, всхлипывая и подвывая, безотчетно опасаясь разомкнуть объятия. Мать снова обрела дочь, которую, прикрывшись обычаем, забрали у нее торгаши-мужчины. А дочь снова обрела маму, любимую свою мамочку, от которой ее насильно отлучили, не позволив вдоволь насладиться этой опьяняющей любовью, когда на душе светло и покойно и все дурное обходит стороной...

Прошло какое-то время, и радость воссоединения схлынула. Утерши слезы, Феруза подняла дочку на ноги, придерживая за локоток, отвела к топчану и усадила. «Я тихонько...» — проговорила она и с величайшей осторожностью принялась разматывать окровавленную повязку. Увидев, что творится под повязкой, она снова заплакала. Успокоившаяся было Дина, как малый ребенок, зарыдала вслед за мамой.

— Чтoб вам пусто было! — простонала Феруза, швыряя на пол тяжелый от крови лоскут, а Дина, хныча, бормотала:

— Я ему: еще раз посмеешь... А он как набросится — повалил и топчет...

— У-у, с-скотина! — говорила Феруза, качая головой, а Дина бормотала:

— Псом обозвала разок... А что? Пес и есть... даже хуже...

— Зверь, зверь!

— Отцовским подарком, мама! Пригодился, называется, в хозяйстве...

Дина вдруг вскинула лицо к потолку и захохотала. Млея от ужаса, Феруза притянула дочку к груди, крепко стиснула, и в этот момент в комнату вбежал Серго, старший брат Дины.

Двадцатитрехлетний семьянин Серго Тмайнов жил по соседству и уже укладывался спать, когда услышал плач в родительской сакле. Он поспешил узнать, в чем дело. Увидевши, что сотворили с его красавицей-сестренкой, он сначала дернулся, точно ошпаренный, потом, как кляпом, заткнул рот кулаком и до боли закусил. Дикий крик застрял в глотке и зачах. Тогда Серго разжал челюсти и спросил очень спокойно:

— Церебовы?..

— А? — сказала Феруза, оборачиваясь на голос. — Это ты, Серго? Беда, сынок! Гляди, что с Диной...

— Церебовы?.. — повторил Серго все так же спокойно.

Дина, не замечая ни матери, ни брата, бормотала с придурковатым хихиканьем:

— Швырнул на землю... а их собака — ам!.. Как будто ей потроха кинули...

— Ну, всё, всё, доча, — ласково проговорила Феруза. — Мама здесь, мама рядом.

— Это Церебовы сделали или нет? — теряя выдержку, отрывисто спросил Серго, и только тогда Феруза ему ответила:

— Они, кто ж еще.

— И чувяки... — бормотала Дина. — Сама шила, сама носила, сама потеряла...

— А отец где? — спросил Серго, обводя комнату взглядом. — Папа, — позвал он. — Папа! — крикнул он, хотя уже все понял. Его опять точно ошпарило. — Куда вы отпустили старика, дуры?! — заорал он на женщин. — Его ж там на ремни порежут!..

Он выскочил на улицу и со всех ног кинулся к себе. На полпути резко остановился, досадливо цокнул и побежал в обратном направлении. Обежав отцовскую саклю, в которой снова были в два голоса, он перемахнул через плетень Моураовых и, как назло, угодил левым чувяком в какой-то горшок с водой. «В душу вашу, дышлом трахнутую...» — процедил он, стряхивая горшок с ноги, и напролом, топча горох и молодой лук, двинулся через огород. Вышибив коленом хлипкую калитку, он сейчас же поскользнулся, клацнув зубами, ткнулся локтем в свежую и оттого невыносимо вонючую коровью лепеху, сплюнул, вскочил и, перебежав через дорогу, забарабанил в окно своего двоюродного дяди, тоже Тмайнова.

— Болат! — закричал он. — Это я, Серго!

С той стороны растянутого на раме бычьего пузыря появилось хмурое, до глаз заросшее седой щетиной лицо Болати.

— Чего орешь? — лениво осведомился он. — Спать пора, а ты орешь.

— Отец... — тяжело дыша, выдавил Серго. — Пошел на Церебовых...

— Чего-о? — громко, как тугоухий, переспросил Болат. — Что ты несешь, мальчик? Какой отец? Чей отец? Леко, что ли?

Серго махнул рукой, словно отшвыривал его слова.

— Собирай всех, дядя... — сказал он. Он не просил, он требовал. — Всех, кто носит нашу фамилию... А я — попробую догнать. Его ж там на ремни...

На последнем слове голос дал маленького петуха. Серго дернул щекой и бросился вниз по улочке. Вдогонку услышал встревоженное:

— Что стряслось, ты можешь сказать?

— Дина! — не оборачиваясь, крикнул Серго.

Он ворвался к себе на скотный двор, как лиса в курятник. Две коровы с потомством и старенький битюг по прозвищу Буцефо пришли в необычайное волнение. Серго выбил из пазов доску, перегораживающую денник, ухватил Буцефо за длинную гриву и чуть не насилу вывел на улицу. Злой со сна Буцефо вздумал кусаться. Серго шлепнул его по влажным губам, хэкнув, вспрыгнул ему на спину и, зажав мощные бока коленями, дернул за гриву: пошел, мол. Буцефо, двенадцать лет проработавший с плугом, не понял, что от него требуется. «Н-но, твою мать!..» — взревел Серго, ударяя

коня пятками в бока, и только тогда Буцефо засеменил к заранее распахнутым воротам.

Проезжая мимо крыльца, Серго увидел, что там с горящей лучиной в руках стоит жена.

— А, Римма... — проговорил он торопливо. От бешеной беготни туда-сюда по аулу его уже трясло. — Там мама с Диной — поди помоги, ага?.. Я быстро: отца догоню и вернусь. А ты прямо сейчас и иди, хорошо?

— А-а... — начала было Римма, но Серго говорить ей не дал.

— Детей к Болату отведи, — сказал он, пригибаясь, чтобы не стукнуться лбом о воротную перекладину. — Пусть сегодня там поспят. И сама одна не оставайся, поняла?

Не дожидаясь ответа, он сильно ударил Буцефо по бокам. Битюг всхрапнул и, тяжело вставая на передние копыта, поскакал вниз к большой дороге.

Крепко уцепившись одной рукой за гриву и откинувшись для равновесия назад, Серго вдруг подумал: балбес я, балбес! Какого, спрашивается, ляда бегал я к Болату? Надо было Римме сказать — она б все передала. Только время потерял. Время... Отец, старый упрямец, ну куда ты один-то поперся? Не мог меня позвать?.. Ну ясно — совесть. Решил, что сам виноват. Дурак! Сам дурак, и сына таким же вырастил. Оружия — не взял, конь — мало того что тремя копытами в могиле, так еще и без седла, того и гляди — сбросит, сломаю шею к чертям...

На большой дороге битюг припустил, да так резво, что засвистело в ушах. Темнота вокруг стояла плотная, кромешная, и Серго полагался лишь на чутье старины Буцефо. Как-никак по этой дороге он с самого жеребьчества ходил: и ночью ходил, и днем ходил, и зимой, и летом. Выведет, подумал Серго уверенно. Ежели не хочет пойти на колбасу — должен вывести... Как тут Дина шла, вот что интересно. Может, ее того, привели? Ничего ведь не расспросил. Хотя толку от нее сейчас... Суки Церебовы, вечно им больше всех надо. Эх, отец, отец! Растревожишь гадюшник, сам поляжешь и гадюшник растревожишь. А надо бы собрать ребят, всех Тмайновых, пойти туда по-тихому и разом вычистить все начисто... И добро прикарманить.

Он не догнал отца. Остановивши вконец запыхавшегося коня у подъема в Тли, он внимательно обвел глазами рассыпанные в черноте огоньки. Тли был умиротворяюще тих. Одно из двух: либо отец сделал дело, либо дело сделало его. Либо никто в этом гадюшнике ничего еще не знает, либо знают все. Зарезали, значит, одного горе-мстителя, притаились и ждут следующего. Вот смеху будет, когда после старика к ним сопляк безоружный явится. И почему я не взял кинжала? Неужели действительно надеялся догнать и развернуть?.. Серго вдруг явственно осознал, что еще немного рассуждений в том же духе — и он струсит. Черт бы подрал эту курицу, подумал он про Дину. С детства от нее одна головная боль... Он покусал губу и тронул коня.

Неторопливо забираясь все выше и глубже в аул, он искоса отмечал церебовские сакли, щедро разбросанные тут и там. Вот в этой, кажись, живет ихний шишка, полуслепой пердун лет под сто, неплохо живет и подыхать, как видно, не собирается — вона какие хоромы отгрохал, с каждым годом все выше. (На самом деле видно было лишь скопление горящих окон, но Серго как бы памятью лицезрел всю саклю целиком.) А вот здесь вроде башня ихняя должна стоять, в бойницах темно, то ли дрыхнут уже, то ли один скот в ней держат, богатины. А вот берлога того драчуна, который на сестриной свадьбе по пьянке расквасил Болату нос. Да, его. Десять сыновей у стервеца, а он все плодится, хвастал, что одиннадцатый на подходе. На племя их нам боги шлют, что ли?.. И тут он увидел отцовскую кобылку.

Он сразу понял, что кобылка именно отцовская, ни у кого больше в Мамисоне не было такой — серой в яблоках. Так же, как и Буцефо, без седла, она стояла у очередного, явно церебовского, двора и, поблескивая светлым взмыленным туловом, понуро выщипывала что-то под плетнем. Серго подъехал к ней вплотную и огляделся.

Тихо. То-то и оно. Он посмотрел во двор. Вроде здесь. Да, здесь, вон тот виноградник, Дина все жаловалась, что не приживается. Дверь на крыльце была приоткрыта, из проема выбивался ровный желтый свет. Идти — не идти? Слезать с коня не хотелось: как-никак в случае чего Буцефо был единственной надеждой на спасение. Серго снова помянул сестру нехорошим словом и, сделав над собой усилие, спрыгнул на землю.

И ничего не случилось. Никто не выскочил из темноты с арканом наготове, не повис на руках, не ударил громадной ступней в сгиб колена. Старательно подавляя в себе гнетущее чувство тревоги, Серго крадучись пересек двор и ступенька за ступенькой поднялся на крыльцо. Перед тем как войти, напоследок обернулся. Тихо. Дура Дина... Он взялся за край двери четырьмя пальцами, осторожно потянул и ступил через порог.

И опять, противу всяких ожиданий, ничего не произошло. Он беспрепятственно проследовал через сени в первую комнату и увидел отца. Отец живым-здоровым сидел на низеньком стуле и остановившимся взглядом смотрел себе под ноги. Под ногами у него валялись двое. Взрослый и мальчик лет тринадцати. Оба были неподвижны. Кровавая размазня жутким узором покрывала пол вокруг них, словно перед смертью эти двое пытались знаками и жестами описать то, что видят их потухающие глаза. Серго стряхнул с себя замешательство и позвал тихонько:

— Отец...

Тот не пошевелился.

— Отец, — повторил Серго громче и, не дождавшись ответа, зашипел: — Это я, Серго! Да очнись же ты!

Леко Тмайнов вздрогнул и повернул голову. Лицо у него было как бы разбито параличом.

— Сынок, — проговорил он одними губами, — гляди, что я наделал...

Серго невольно опустил глаза и сейчас же поднял обратно.

— Ну? Что?

— Мальчишку! — выдавил Леко Тмайнов с болью в голосе. — Мальчишку зря загубил!

Серго вознамерился было спросить, а кто это, собственно, такой, но отец пояснил и так:

— Племяш... Прислали к дядьке за табаком, а дядька уже... булькает. Вы кто? — спрашивает. И сам же отвечает: душегуб, говорит, вот кто вы... И вижу: удрать хочет... хочет да не может — ноги не идут. Зайчонок... — Леко Тмайнов страдальчески сморщился и замотал головой. — О-ох, лучше бы он удрал! Лучше бы его конь сбросил и к постели на всю жизнь приковал! Какой бес его сюда направил, какой бес?..

Следя за тем, чтобы, упаси бог, не наступить на кровавые разводы, Серго приблизился к отцу. Отец все казнился. Совсем расклеился старик, с жалостью подумал Серго и, положивши руку на отцовское плечо, сказал доверительно:

— Так им и надо. Сами виноваты.

Леко Тмайнов вскинул на него глаза, полные муки:

— Да как же ты не понимаешь, сынок? Это ж война, война! Теперь уж не замаять.

— А ты что, — опешил Серго, — собирался замаять? После того, что они... с Диной?!

Леко Тмайнов с чмокающим звуком открыл рот, но промолчал. Голова его тяжело упала на грудь, и глубокие морщины, прорезавшие шею и бритый затылок, разгладились, сделавшись просто белыми линиями на смуглой от загара коже.

— Всех вырежем, — мрачно сказал Серго, глядя на эти линии. — И добро прикарманим.

— Лопу-ух, — протянул Леко Тмайнов, но так тихо и невнятно, что Серго не сразу понял, про кого это он, а когда понял, отец уже снова смотрел на него. И в глазах его больше не было муки. — «Вырежем!» — повторил он ворчливо. — «Прикарманим!» Вырастил на свою голову... Может, ты еще и рад, что повод нашелся, а?

Пришло время Серго чмокать губами.

— Понятно, — сказал Леко Тмайнов уничижительно. — Давай бери мою шашку и пошли.

Серго заозирался.

— Да вон же, на столе, — показал Леко Тмайнов и попытался встать. — Зар-раза! — прохрипел он, падая обратно на стул. — Сначала помоги подняться...

— Ты ранен? — встревожился Серго.

— Нет, расстроен! Ведь у меня сын — дурень!.. Дай руку!

Серго помог отцу подняться. Старик пыхтел, кряхтел и кривился, вся левая сторона бешмета у него, оказывается, промокла от крови.

— Ты ранен, — сказал Серго уже утвердительно.

— А ты — дурень, — буркнул Леко Тмайнов. — Зачем безоружным приперся?

— Я...

— Шашку не забудь — я! — перебил Леко Тмайнов, отодвинул сына и немного изменившейся походкой направился к выходу. — Ну, что встал? — буркнул он, не оборачиваясь.

Забыв про кровь на полу, Серго послушно кинулся за шашкой и, конечно же, поскользнулся, немедленно узнав, что он чурбан колченогий. Отец снова был самым собой — склочным стариканом, любящим покомандовать и вечно недовольным качеством исполнения его команд. Серго не знал, радоваться этому или огорчаться.

Он нагнал отца уже у калитки — тот, кряхтя, взбирался на свою кобылку. Кобылка беспокойно переминалась, запах крови ее тревожил. Оказавшись верхом, Леко Тмайнов протянул к сыну руку и сказал:

— Давай сюда.

Серго передал ему шашку и подошел к Буцефо. Уже взявшись за гриву, он вдруг замер.

— Ну, чего еще? — недовольно осведомился отец.

Серго не ответил. Он стоял, уставившись перед собой невидящими глазами. Потом пробормотал: «Я сейчас...» и бросился обратно во двор. Отец зашипел что-то протестующее, но Серго прослушал. Остановившись посреди двора, он завертел головой. Чахлый свет из дверного проема освещал краешек стоптанного порога да два столба от навеса, обвитые молодым виноградом, — все остальное утопало в темноте.

— Куть-куть-куть, — позвал Серго как можно более ласково.

— Ты что, белены объелся? — донеслось отцовское шипение. — Ну-ка, живо на коня!

— Куть-куть-куть, — повторил Серго почти с отчаянием, и тут показалась та, кого он подзывал.

Она вынырнула из темноты слева и, с робким дружелюбием виляя хвостом, приблизилась к Серго. Нос и глаза у нее влажно поблескивали, на шее болтался веревочный ошейник с пустующей петлей. Серго дождался, когда она по звериной привычке опустит мордочку, чтобы понюхать носок его чувяка, после чего резко поднял этот чувяк и с силой обрушил на прилизанный хребет. Шавка взвизгнула, рванулась из-под чувяка, вывернувшись и поползла прочь на передних лапах — задние безжизненно волочились по земле. Серго поглядел на это со странной смесью гадливости и удовлетворения, потом шаркнул по траве подошвой (ему показалось, что на нее что-то налипло) и быстро вышел за калитку. Вспрыгнув на коня, он сказал отцу:

— Ну? Едем, что ли?

— Едем, — отозвался отец с запинкой. И, помолчав, добавил: — Да уж...

Они уже тронулись, когда впереди послышались шаги: кто-то приближался. Судя по размеру светлой, чуть различимой в темноте фигуры, — мужчина. С той стороны, откуда он шел, не очень далеко, но и не близко, доносились еще шаги и веселый говорок впережку с хихиканьем.

— Молчи, я говорю, — успел шепнуть сыну Леко Тмайнов, и в следующую секунду подхопивший заорал пьяным и оттого страшно жизнерадостным голосом:

— Мир вам, добрые люди! Кто это заглянул к моему брательнику посреди ночи? Сознавайтесь!

Не дожидаясь ответа, кричавший приблизился к кобылке Леко Тмайнова и задрал лицо, вглядываясь.

— Ба! — воскликнул он. — Да это никак Динин папаша! Дочку решил проведать, а?

— Решил вот, — отозвался Леко Тмайнов сдержанно.

— Ну, и как она — домой не того?

— Все — того.

— Что верно, то верно. Но это не повод обижать нашу скотинку. Да-да, я слышал! Зачем собаку до слез довели?

— Больно кусачая она у вас.

Жизнерадостный хохотнул.

— А у нас в Тли все собаки такие, — заявил он хвастливо. — Вот у Мурата... Мурат... — Он оглянулся через плечо и, никого там не обнаружив, закричал протяжно, как заблудившийся: — Му-у-ура-ат!

— А-а-а, — донеслось из темноты.

— Не акай — слепень залетит! Ходи сюда!

— Что такое?

— Ходи, ходи! Расскажешь людям, какой у тебя замечательный пес!

— Чего?

— Говорю, расскажешь, какой у тебя замечательный пес!

— Чего?

— Ты что там, издеваешься? — разозлился жизнерадостный. — Ходи сюда, говорю!

В темноте заржали в две глотки, потом Мурат прокричал басом: «Сам рассказывай!» И жизнерадостный, мигом остыв, принялся рассказывать:

— Зовут его Каштар. А-агромный, что твой теля. Жрет за троих, а когда не дают — отбирает. Взмахом хвоста однажды петуха насмерть убил. Волчицы им сеголеток пугают. А ежели Мурат скомандует: «Взять!» — так он вскакивает, вертит мордой и рычит: «К-кого?!..»

Жизнерадостный выгнулся дугой и раскатисто захохотал, предлагая Тмайновым присоединиться к нему.

Тмайновы хранили молчание.

— Да-а... — протянул тогда жизнерадостный. — А я вот иду сыну уши драть. Послал его, понимаешь, за табаком, а он — как в воду канул. Не видели его, случаем?

Леко Тмайнов издал такой звук, словно подавился, и возникшая пауза угрожающе затянулась.

— Он-н... в сакле, — подал голос Серго.

Жизнерадостный сейчас же повернул к нему лицо — неясное бледное пятно во тьме.

— В сакле? Что же он, паршивец, не выходит? С дядькой на пару запил? Зелен еще... Абе! — крикнул он в сторону церебовской сакли и на несколько секунд замолк, ожидая отклика. — Ох, он у меня попля-ашет, — проговорил он многообещающе. — Отцу, понимаешь, табака принести не может. И это сейчас, а что будет, когда я состарюсь?

Серго понимал, что их хотят разговорить. И еще он понимал, что жизнерадостный хоть и пьян, но отнюдь не дурак. Болтовня болтовней, а жизнерадостность его явно идет на убыль, еще немного — и останется от нее одно воспоминание. А уж когда он про сына узнает... У Серго вдруг пересохло в горле; ему ужасно, почти до иступления, до крика, захотелось ударить Буцефо по бокам. Он едва сдержался. Сердце отчаянно

бухало где-то внизу живота, похолодевший затылок свело, и черт знает, чем бы все закончилось, если бы жизнерадостный не воскликнул изумленно:

— Первый раз такое наблюдаю! Что это вы, мужики, — без седел? Почему — без седел?..

Попались, малодушно подумал Серго, и ему почудилось, что он со страху ляпнул это вслух. Но он не успел как следует испугаться. Отец вдруг резко и непонятно хэкнул, и Серго увидел, как жизнерадостный, всплеснув руками, валится во тьму, сливаясь с ней воедино. Кобылка под отцом взбрыкнула, рванулась и пропала. «Н-но!» — рывкнул Серго секундой позже. Волглая темнота ударилась о лицо и, обдирая уши, понеслась назад.

Страх сдуло почти сразу. Появилось возбуждение, задорное, бодрящее, все внутри у Серго плясало в каком-то дьявольском веселье: хотелось махать рукой, орать, выставив кадык, нечленораздельное и погонять, погонять проклятую клячу, йя, йя, давай, старина, давай, родимый, во весь опор, вспомни молодость, вот так, вот так, по ихним черепушкам, раздробим челюсти, в землю вобьем, с дерьмом смешаем... От бешеной тряски он прикусил изнутри щеку, и рот сразу наполнился кровью. Он сплюнул, хохотнул гортанно и снова ударил коня пятками.

И тут впереди во тьме что-то с коротким шмяком упало на землю. Отец! — понял он. Остановиться на такой скорости да на такой дороге — спуск, грязь — было невозможно, поэтому Серго отчаянно дернул за гриву, пытаясь повернуть конскую морду хоть немного, хоть на чуточку влево и тем выпутаться. Получилось. Жесткий клок гривы, застрявший под ногтем среднего пальца, переломил ноготь пополам, но отца Серго все-таки спас, не затоптал копытами.

Буцефо еще не остановился, а Серго уже спешил и, вытаращив бесполезные глаза, бежал назад, где в грязи с глухим оханьем возился отец. Черт, черт, черт! — ныло в голове и просилось на язык, а вокруг, точно в припадке падучей, дергались и прыгали желтые прямоугольники. И почему это жизнерадостный молчит? — мелькнуло где-то на самом краю сознания, потом ноги вдруг врезались в податливый отцовский бок, и Серго, мгновенно сжавшись в ожидании страшного удара, полетел в грязь.

Удар, впрочем, был несильный, скорее обидный — так оплошать! Еще этот старикан — кроет, сволочь, словно я его тут не спасаю, а добиваю из милости... Встав на карачки, Серго пополз на голос («Так тебя и не так, сопляк ногастый, безголовый!..»), нащупал сначала скользкую отцовскую ноговицу, потом, продолжая ощупывать, добрался до плеча. Плечо тоже было сплошь в грязи. Специально он, что ли, вымазался? Или это я — мои ладони? Он поднялся, расставил ноги пошире, склонился, обхватил отца под мышками («Да напрягай уже свои культяпки!..») и, увязая в жиже по щиколотки, с натугой выпрямился. Еле-еле устоял. Если б отец не помогал, вряд ли что получилось бы. Подставив плечо, он обнял старика одной рукой («С-с-с, выше, выше, скотина!..»), другой — сжал кисть, безвольно болтающуюся перед лицом, и кое-как двинулся. Старик валился, но шел. Выскальзывал, но шел. И матерился, конечно. Злоба всегда придавала ему сил. Леко без злобы — и не Леко вовсе. Вот и сейчас — бурчит над ухом всякие гадости, а ноги свои старые, молю траченные, переставляет. Переставляй, переставляй, папаня, и бурчать не забывай. Хоть и без тебя давно знаю, кто я и почему от своей родительницы произошел, но ты все равно говори — напоминай, растолковывай, авось надоест слушать и умнеть начну.

Они всё спускались, в четыре ноги меся грязь, а мимо только желтые огни проплывали — мирно проплывали, безо всякой падучей. Зараза, где же эта кляча? Неужели удрал мой Буцефо? Ни в жизнь не поверю. И почему это жизнерадостный молчит? Не должен он молчать. Ему, понимаешь, пяткой в морду заехали, а он...

И тут раздался крик.

Протяжный, исполненный непреодолимой жажды уничтожения, он вспорол аульную тишину, в мгновение ока разросся и, отталкиваемый отовсюду, спиралью

ушел ввысь, и запоздалое эхо, как отбившийся от табуна стригунок, принялось выкликать родителя.

— Нашел, — изрек отец с непонятным удовлетворением.

Чувствуя, как спина увеличивается в размерах, Серго спросил испуганно:

— Что нашел?

— Сына, дурень!

Когда до Серго, наконец, дошло, о каком сыне идет речь, спина его была уже во всю ширину аула — белая, гладкая, бесконечно уязвимая.

— Пошли, — глухо проговорил он, шагнул и неожиданно для себя завопил плачущим голосом: — Да шевели ты копытами, бога ради!..

Они с удвоенным усердием принялись месить грязь, вразной сипя, едва успевая подставлять ноги под падающие туловища. Позади опять было тихо, но уже как-то по-другому: теперь это было именно затишье. Жуть как хотелось обернуться и лицом встретить исход этого затишья, но неведомая сила, во сто крат мощнее всякого желания, гнала прочь, вниз, подальше отсюда.

— Шашку, жалко, выронил, — прохрипел отец в самое ухо. — Без нее точно не пробьемся.

Серго только харкнул гадливо. Он и сам понимал, что им не выбраться, что этим своим смехотворным забегом они лишь отсрочивают неизбежное. Чхать на шашку, без Буцефо им даже до большой дороги не дотянуть — обязательно догонят, окружают и забьют, как цуциков. А может, и не забьют — помучают для начала... Мать моя мамочка, подумал вдруг Серго с тихим, нарастающим отчаянием. Жить-то как хочется! Я ведь и не пожил-то толком! Мне ведь еще дышать и дышать, с женой любиться, детей на ноги подымать!.. Тут он похолодел от какого-то нехорошего предчувствия и, разом оборвав все эти нюни, внушающе сказал себе: и не думай, сволочь, пусть даже он сам попросит, прикажет тебе на правах старшего, не смей — ты слышишь? — не смей его бросать!..

А позади уже перекликались резкими каркающими голосами, ржали разбуженные лошади, хлопали двери и вроде даже заголосила и сейчас же смолкла какая-то баба.

— Ты вот что, сынок... — начал было отец увещевающим тоном, но Серго, готовый к этому, свирепо перебил его:

— Заткнись! Либо оба уйдем, либо оба поляжем, понял? — К горлу подкатило что-то горько-постыдное, и он закричал, срываясь на плач: — Понял?!

— Лопух, — с тоской сказал Леко Тмайнов и больше ничего не говорил.

Топот копыт за спиной становился все отчетливее — не менее пяти всадников, пронзительно гикая, нагоняли их. Оборачиваться больше не хотелось. Ничего больше не хотелось. И все глубже погружаясь в это странное, полное блаженного безразличия состояние, Серго вдруг подумал — отрешенно, словно и не о себе даже: плевать, что не пожил, плевать, что недолюбил, и на детей плевать — сами как-нибудь на ноги встанут... но вам, гниды церебовские, я так просто не дам, я вас, сучьи вы потрохи, и живым искусаю, и мертвым кусать буду — гнилые ваши сердца буду кусать, пока не сдохнете, а там и поквитаемся по-настоящему...

— Всё, сынок, пора, — прохрипел отец. В голосе его появилось нечто отдаленно напоминающее родительскую ласку.

Мысленно усмехаясь этой ласке, Серго свернул на обочину, отпустил старика (тот сразу же осел, точно в яму провалился), затем выбежал обратно на дорогу и, зачерпнув рукой комок грязи из-под ног, встал лицом к преследователям. Ни зги не было видно. Лишь надвигающийся топот, гики, всхрапы, а по сторонам этой гнусной катавасии — неподвижные желтые прямоугольники.

— Ну, давайте, давайте... — со злоеющим весельем проговорил Серго, взвешивая на ладони холодный склизкий ком. Ему вдруг стало интересно, собьет он всадника или промажет. В детстве, помнится, он был первым стрелком среди тибской ребятни. —

Ну, давайте, давайте... — повторил он нетерпеливо, становясь к преследователям вполоборота и отводя руку для броска.

Он знал, что это конец. И он был горд, что встречает его именно так — с улыбкой и нетерпением. Да, думал он беспорядочно. Конечно. Сбить не собою, но — да. Все правильно... Вот уже дрожь сообщилась от земли ступням, вот уже гики и всхрапы сделались почти оглушающими, — Серго глубоко втянул ноздрями освежающую сырость, помедлил секунду и резко, на выдохе, едва не вывихивая себе плечо, швырнул распадающийся на лету ком навстречу надвигающейся смерти.

Он ясно услышал влажный шлепок и одновременно с этим — жалобный вскрик. Ничего приятнее он отродясь не слышал. Да-а! — ликующе подумал он, всем существом устремляясь прямиком на этот вскрик. Вот я каков! — думал он, сгибая руки в локтях и растопыривая пальцы. Оставалось последнее, простенькое: ухватить сукина сына за что-нибудь, сдернуть с лошади, навалиться и стиснуть пальцы на поганом горле... О как он этого желал! Женщины никто так не желает, как он желал вцепиться в поганое церебовское горло!

В следующую секунду что-то произошло. Что-то громкое, резкое и жутко болючее, похожее на хруст кости. Он смутно сознавал, что лошадиный корпус ударил его в плечо, но, слава богу, не подмял, не бросил под копыта, а лишь со страшной силой отшвырнул в сторону... И еще он сознавал, что, несмотря на это столкновение, он изловчился-таки цапнуть проклятого всадника за рукав и теперь, падая, тянет его за собой. Он даже успел обрадоваться.

Потом был удар о землю. Сдернутый с лошади шумно плюхнулся рядом и сразу же вознамерился куда-то уползти. Врешь — не уйдешь! Не выпуская из пальцев трофейного рукава, Серго грудью налез на поверженного и носом, губами, подбородком принялся шарить, отыскивая, где, в какой стороне этого темного отбивающегося царства находится горло. Вокруг грохотало и вспыхивало, но Серго, упоенный боевой горячкой, не обращал на это внимания. И когда щеку его царапнула жесткая, отнюдь не юношеская борода, под которой явственно ощущалось жадное биение жизни, он выпустил ненужный рукав и с каким-то облегченным полувыдохом-полустоном сомкнул пальцы там, где так желал. Темнота под ним захрипела, задергалась, принялась пихать его в грудь и царапать лицо. Врешь, падаль! — подумал Серго, мотая головой. Ни за что не отпущу!

Плотность шума вокруг достигла тем временем немыслимого предела. Творилось что-то непонятное: грохали ружейные выстрелы, ржали лошади, лаяли собаки, оралы люди на разные лады — испуганно, удивленно, разъяренно, подбадривающе, преодолевая боль, грязно матерясь и черт знает как еще. Серго ничего не понимал, да и не до этого было. В голове намертво засело, что всё, это конец, что другого случая уже не представится, и если не забрать с собой хотя бы одного сукина сына, жизнь, считай, отдана зазря. Он не хотел отдавать жизнь зазря и поэтому изо всех сил сдавливал крепкое мускулистое горло, а удушаемый, хрипя и брызгаясь, все тянулся обеими пятернями к его лицу, царапал ему щеки, рвал губы, хватался и дергал за нижнюю челюсть, а Серго, предельно задрал голову, и так и сяк вертел подбородком, пытаясь уберечь хотя бы глаза...

Все прекратилось с новым ударом. Серго вдруг сбило с лежачего и, трепля, как баловник сестрину куклу, протащило по грязи несколько шагов. Ошеломленный от чудовищной слепящей боли, плохо соображая, что он делает, Серго приподнялся на локтях и, увязая в хлюпком месиве, пополз туда, где страдальчески кашлял недодушенный всадник. В том, что всадник до сих пор кашлял, было что-то неправильное, противоестественное что-то. С этим нужно было кончать. Немедленно. Прямо сейчас... Серго уже нащупал содрогающуюся спину, уже навалился на нее, безо всякого усилия подминая под себя, как вдруг несколько рук схватили его сзади за

шиворот и за плечи, рванули раз, другой, безжалостно, точно засохшую повязку от раны, отодрали от всадника и, не мешкая, потянули прочь.

Серго не сразу понял, что визжит, почти плачет. Его лишили добычи. Лишили возможности умереть как подобает. Теперь умертвят кого угодно — только не мужчину. Даже если бы он струсил, оставил бы отца на съедение этим тварям, — даже тогда было бы лучше: струсив, он мог хотя бы опомниться — не сегодня-завтра, не завтра-послезавтра вернулся бы сюда с оружием и оправдался бы задним числом. А сейчас...

— Я-а-ар-рх-хи-и-и-и! — дико визжал он, изо всех сил суча ногами, выгибая спину и колотясь затылком о предплечья волочащих его людей. Ему больно задевали бока, перехватывали руки, которыми он цеплялся за скользкие чувяки, чапающие справа и слева, а кто-то непомерно огромный, нависнув над ним потной, невидимой в ночи тучей, орал что-то прямо ему в лицо, и сначала Серго не желал знать, чего именно домогается этот церебовский переросток, а потом в глотке что-то болезненно надорвалось, визг сменился сипом, и Серго услышал:

— ...Да приди же в себя, мальчик! Где твой отец, я спрашиваю? Где Леко? Я тебе сейчас зубы повыбиваю — прекращай вертеться!..

Это был Болат, всего лишь Болат. Дядька. Родимый. Прибег. Успел. Не оставил. По гроб жизни не забуду. От нахлынувшего облегчения Серго на несколько сладостных мгновений потерял сознание, а когда, вздрогнув, очнулся, от него уже ничего не требовалось. Вокруг все так же грохали выстрелы, орали люди, ржали лошади, лаяли собаки по всему аулу, его, Серго, все так же волокли по грязи, а дядя Болат, судя по голосу, отвернулся куда-то вправо и обрадованно, точно новоиспеченный папаша, ревел:

— Ну наконец-то! Жив, Леко? Тащите, тащите его к большой дороге! — и сразу же — Серго: — Молодец, мальчик! Уберег старика! Вот что значит тмайновская порода!.. Слышите, вы! — прокричал он, перекрывая все шумы. — Это не ваши сучьи выродки, кромсающие своих жен и выгоняющие их из дому! Это Тмайновы! И мы еще сюда наведемся!

Его слова произвели эффект. Стрельба, как по мановению, стихла, а плотность ора, напротив, приняла вдруг необычайный размах. Заорали все, разом, и Тмайновы, и Церебовы, всего — не меньше тридцати глоток:

— Ты у меня кр-ровью умоешься, голодранец! Это я к тебе наведуясь!

— Чтоб ты ослеп, коли наведешься без приглашения!

— Тото! Где Тото? Тото! Тото!..

— Пусть сгниет грудь того... кто... в меня...

— ...Решили Таму ухлопать? Я сам кого хочешь ухлопаю!

— Ножам р-режьте, коням р-рвите — не спрячетесь! Я вас, гнид, из-под земли!..

— Чей это конь такой хороший? Ты чей, а? Церебовский, говоришь? А вот и неправильно! Отныне Ирбека ты конь. Запомнил?

— Тото! Тото! Тото! Отзовись, Тото! Тото!..

— Ирбек, а Ирбек! Мне тоже коняшку захвати!

— Тмайновские выродки, голодранцы, жрущие собственное дерьмо, валите отсюда на хрен, пока вам ноги не выдернули!

— Ты чё такой громкий, а? Добавки захотел, овечий сожитель?

— Я тебя, ублюдка, только за это укукошу! Ты! Я узнал твой голос!

— А меня, меня узнал? Это я! Который к твоей жене наемни приходил! Она не рассказывала? Неблагодарная!

— Тото! Тото! Тото! Тото!..

— Да выпадут ваши оборванские усы и иссякнет ваше оборванское семя!

— Э-э, опять ругается... Колючки вырастут в твоём очаге за эти слова!

— Ну-ка, пусти... Женщиной, что меня породила, клянусь: ни один засранец из вашей зас... Да пусти, чтоб тебя!..

— Ты, который Дабе убил! Я до тебя доберусь, слышишь? Доберусь, зарежу и possu тебе на рожу!

— Не горюй, мы тебе другого братика заделаем!.. Или это была сестра?

— То-ото-о-о!..

Послушав это с полминуты, Серго не вытерпел. Грудную клетку прямо-таки разрывало от какого-то сумасшедшего злобного торжества. Он разинул рот и, задыхаясь, проорал в пространство:

— За каждую каплю тмайновской крови будете держать ответ!

Угроза его, никем не услышанная, потонула в общем реве. Немного расстроенный этим, Серго вознамерился было все повторить, слово в слово, громче и истовей, чтобы аж самого пробрало, но тут его снова стало затягивать в сладостное опустошающее забытие, которое — он знал — будет уже не таким кратким, как первое. Он сопротивлялся всего несколько секунд, и пока длилось это заведомо обреченное сопротивление, чей-то резкий иступленно-рыдающий голос, ясно выделявшийся из общего гама, ломился в угасающее сознание, однако, несмотря на всю свою иступленность, почему-то лишь убаюкивал Серго, как когда-то убаюкивала его мамина колыбельная. «Ползите, ползите в ту нору, твари, — убаюкивал голос, — туда, откуда вы вылезли, и ждите, когда к вам явлюсь я, Тотырбек Церебов, отец Абе, которого вы сегодня погубили!..» Которого мы сегодня погубили, умиротворенно повторил про себя Серго и перестал что-либо сознавать.

3

Когда Тотырбек Церебов увидел, что случилось с его первенцем, разум его помутился. Если бы от горя можно было умереть, он бы наверняка умер — рухнул бы между Абе и Заурбеком и был бы только счастлив разделить их судьбу. О, если бы все делалось по его, Тотырбека, хотенью! Всего, ну абсолютно всего можно было бы избежать! Достаточно было не посылать мальчика за табаком. Или не напиваться. Или просто сходить до брата самому, раз уж так занадобилось подымить перед сном. Недалеко ведь было, видит бог — недалеко. А там — в бараний рог и Леко, и сопляка того, на битюге. Пьянь, пьянь беспробудная, а не мужчина! Не уберег — ни сына, ни брата, никого...

Он смутно помнил, что было дальше, после того как он увидел и до конца поверил в то, что видит. Кажется, он закричал. Кажется, начал рвать на себе бороду. Кажется, на шум прибежал Мурат, встряхнул его как щенка и погнал за лошадью. Кажется, он ни в какую не хотел отходить от сына, а потом все же очутился каким-то образом дома, и жена мгновенно узнала обо всем — без слов, просто по его, Тотырбека, помертвевшей, в кровь истерзанной роже поняла: случилось непоправимое. Кажется, он дал ей пощечину, чтобы заткнулась. Кажется, он готов был убить ее, если она издаст еще хотя бы один звук. Кажется, она поняла это и, покорно замолкнув, бросилась вон из сакли — искать свое дитя, надо полагать. Кажется, он дрожащими руками заряжал потом ружье, и сухой черный порошок сыпался куда угодно, только не в канал ствола. Кажется, он ахнул проклятое ружье о стену и побежал на скотный двор так. Кажется, Мурат, уже будучи верхом, преградил дорогу его лошади и принялся внушать ему что-то насчет десяти человек. Кажется, он отобрал у Мурата ружье и поскакал один... нет, не один — Мурат его, конечно, не оставил, одно слово — Церебов...

И только когда комок грязи, точно мокрой тряпкой, хлестко, до искр, шлепнул по лицу, Тотырбек пришел в себя. Как от кошмара пробудился. Но было поздно: ловкач, метнувший грязь, уже сдернул его с лошади. Как этот урод ухитрился

проделать такое в темноте да на полном скаку — пес знает. Так или иначе, Тотырбек, выронив ружье, рухнул в грязь, а ловкач, сопя, как шакал, обнюхивающий мертвечину и прикидывающий, где половчее куснуть, сейчас же налез на него, гнусными суетливыми телодвижениями отыскал горло и принялся душить.

Да-а, явь была пострашнее любого кошмара. Тотырбек понял, что его вот-вот не станет. Но не этого он испугался. Абе. Бедный мальчик так и останется неотмщенным. Ведь не Мурат, не какой-нибудь «троюродный брат дядькиного шурина», а он, Тотырбек Церебов, обязан отплатить за причиненное зло. Это его долг. Как мужчины. Как отца. Как мужа женщины, у которой убили сына... Он принялся отчаянно сопротивляться, но куда там — явь оказалась той еще стервой. Плевать ей было на убиенных детей, на гнев отцов, на слезы матерей... Стерва и есть...

И словно отвечая на это обвинение, возмущенная явь вмешалась. Ловкача вдруг — как крошки со стола — смахнуло с Тотырбека. Ш-шик — и нету! Кажется, это была лошадь. А может, и человек. Нет, все же лошадь — перепугалась, бедняжка, пальбы. Погоди — пальба? Какая еще пальба? Тотырбек никак не мог вдохнуть — глотка словно горячим песком засорилась, — но невзирая на это он все же сумел разобраться — какая пальба. Ага. Схлестнулись, стало быть. Молодцы. Ей-богу, молодцы родственнички! Дайте мне откашляться, откашляться мне только дайте, я вам покажу, как этих уродов давить надо...

Тут настырный ловкач, которому явно не хватило перепуганной лошади, снова налез на него, но и на этот раз все обошлось. Не успел ловкач навалиться как следует, его сейчас же насилу отодрали и потащили куда-то, а он обиженно — ну прям как малый ребенок, у которого старшие братья отняли лакомство, — завизжал, требуя справедливости. Кол тебе, а не справедливость, злорадно подумал Тотырбек, жалея, что не может прокричать этого во всю глотку. Теперь моя очередь. Теперь я тебя обнимать стану... Зараза, куда они его? Э, доброхоты! Тащите назад, он мне здесь нужен... Проклятье, они его что, вместе с воздухом уволокли?

Кругом осатанело галдели, гоняя уродливое эхо по всему аулу. Черт бы свихнулся, разбираясь, где в этом крошечном многоголосье свои, а где — чужие. Но вот Тотырбек уловил знакомый, вечно простуженный бас, который встревоженно, ни на секунду не умолкая, выкликал какого-то Тото: «Отзовись, Тото! Тото! Тото!..» Тото — это я, сказал себе Тотырбек. Это меня зовут — Мурат зовет, помочь хочет... Он пополз на зов. Вдыхать получалось через раз и только наполовину и с огромным трудом. На выдохе из груди вырывался раскаленный не то сип, не то клекот. Глотка, поди, давно обуглилась. Нет, не доползу я до Мурата, изнутри сгорю. Да и на кой он мне? Абе. Вот о ком думать надо. Убийцы — вон, чуть ли не в лицо смеются, а я... Он обессиленно перевернулся на спину и, погрузивши затылок в грязь, оголил горло. Ну, давай, давай, работай, чертово хайло!

И хайло заработало. Первый, по-настоящему глубокий вдох был похож на глоток кипятка. На какую-то долю секунды Тотырбек, забыв о сыне, пожелал умереть — до того было больно. Но все быстро прошло, боль съезжилась, поутихла, сделалась вполне терпимой — он вытянул ноги и задышал, глубоко и старательно, как будто только что вынырнул на поверхность ледяного озера.

— Тото, Тото, Тото!.. — надрывался Мурат совсем рядом.

Тотырбек не отзывался, хотя уже был в состоянии это сделать. Сына потерял, брата — тоже, с горечью думал он, вылавливая из общего гомона дерзкие выкрики Тмайновых, которые так и кичились, что вот они, такие разудалые, застали Церебовых врасплох в их же собственном ауле. Почему так случилось? — спрашивал он себя. Неужели из-за меня?.. Ну да. Ведь это я с Леко шутики шутил, когда у того на чувяках еще не остыла кровь моего мальчика. Теперь валяюсь вот в грязи, жалкий недобиток, а хмель из головы — смех и грех! — так и не выветрился... И вдруг он почувствовал такой уничижающий позор, такую обиду и досаду, что ему снова стало трудно дышать. Он

ненавидел себя, ненавидел всей душой. Но еще больше он ненавидел Тмайновых. Все они, от мала до велика, подлежали истреблению. Задохнуться можно было от осознания этой простой, в сущности, мысли. И он бы обязательно задохнулся, если бы срочно не облек губительный излишек ненависти в слова; он закричал:

— Ползите, ползите в ту нору, твари, туда, откуда вы вылезли, и ждите, когда к вам явлюсь я, Тотырбек Церебов, отец Абе, которого вы сегодня погубили!

Выдавив из себя последнее слово, он с мучительным облегчением закашлялся, а тут и Мурат прибежал — нащупал его в темноте, схватил под мышки и, пыхтя, поволок куда-то. Тотырбек не сопротивлялся. Крик словно от чего-то освободил его. В голове было ясно и просторно, как после продолжительной болезни. Теперь он точно знал, что будет дальше, и знание это переполняло его каким-то старческим спокойствием. Давно бы так, подумал он и, подняв лицо, сказал Мурату:

— Тпр-р.

Вокруг стоял гомон, но Мурат услышал и подчинился.

— Присядь, — сказал Тотырбек.

Мурат послушно присел, придвинулся к нему вплотную и утешающе забубнил:

— Досталось тебе, Тото, как никому досталось. Но ты не того, не раскисай. Мы еще отыграемся, мы так еще отыграемся...

— Замолкни, — спокойно велел Тотырбек, и Мурат, несмотря на явную грубость (а возможно, и благодаря ей), снова подчинился. — Собирай мужиков, — сказал Тотырбек. — Никаких кунаков — одни Церебовы. Не меньше шести, не старше сорока. Жду вас...

— По темноте собрался справедливость наводить? — проворчал Мурат. Тотырбек дал ему договорить, помедлил и договорил сам:

— Жду вас здесь — верхом и при оружии. Ежели молодежь набиваться станет, шли к черту. И вообще — меньше пыли. Сейчас Старик всех созовет — разбираться будет, из-за чего сыр-бор. Так вот, мы к нему не идем.

— То есть как? — удивился Мурат. — Ты что, в одиночку решил Тмайновых перебить?

— Ежели ты не со мной, то — да, в одиночку.

— Ох, Тото, Тото... — начал Мурат с тоскливым осуждением, но Тотырбек спокойно прервал его:

— Не надо. Не сейчас. Просто скажи: со мной ты или нет?

— С тобой, с тобой, конечно!.. Но-о...

— Что — но?

— Старик, — сказал Мурат с нажимом. — Мы и так дел наворотили. Нет чтобы сразу всех на уши поставить, скопом навалиться... Они ведь Дабе — того. И Хэтага. И парня — как его? — ну сынка маменькиного...

— И Абе, — терпеливо напомнил Тотырбек. — А ты, голубчик мой, собираешься разговоры разговаривать, выяснять, из-за чего тмайновская чернь вдруг взбесилась.

— А и в самом деле, — пробормотал Мурат, — чего это они?..

— Да какая разница?! — закричал Тотырбек. — Абе убили! Помнишь еще такого? Это тот мальчуган, который дергал тебя за усы, когда был маленьким. Который два года кланчил у тебя ружье, а когда наконец получил, уронил его в реку. А потом пришел к тебе и сам протянул розгу. Который за таба... — Тут он осекся, но сразу взял себя в руки. — Который за табаком пошел, — докончил он беспощадно. — Не хотел, спать уже собирался, а — пошел: папа попросил. Ты, дядюшка, тоже, между прочим, должен был употребить тот табак — забыл? Самый дорогой табак в Мамисоне! — провозгласил он, презирая себя за это комедиантство. — Да что там Мамисон — в мире! Жизнь ребенка за полкисета, а? Ты как, в трубку бы забил или натёр и — в ноздрю?

— Ни слова больше, — выдал Мурат страшным голосом. — Ты — отец, да... но лучше молчи.

— Во-от, — удовлетворенно протянул Тотырбек. — По-онял наконец. Плевать на темноту и на все остальное, а значит, быстро-быстро собирай ребят и води их сюда. — Он помедлил. — Ну!

Мурат тяжело вздохнул, как бы говоря: «Так и быть, Тото, сделаем по-твоему», потом поднялся и убежал куда-то вправо.

Галдеж между тем заметно поредел. Орали теперь по большей части Церебовы; Тмайновы спешно, но организованно отходили к большой дороге — огрызаться огрызались, но уже без прежнего воодушевления. Тотырбек слушал так, вполуха, и, в общем и целом, спокойно, хотя давалось ему это ой как нелегко: убийца Абе как-никак был среди отступающих. «Ничего», — проговорил он вслух и вдруг обнаружил, что смотрит только одним глазом. Он ощупал лицо. Правая глазница, оказывается, была залеплена толстым слоем грязи. «Чтоб у тебя р-руки отсохли!» — с сердцем пожелал он ловкачу и принялся аккуратно выковыривать грязь из глазницы. Когда выковырилась основная масса, он отшвырнул ее в сторону, плюнул на кулак, вытер его о грудь, снова плюнул и начал тереть слипшиеся веки костяшкой указательного пальца. Глаз сильно слезился, но вроде был целехонек — Тотырбек уже различал им расплывчатые пятна желтоватого света и черные силуэты, время от времени эти пятна заслоняющие. Тут вернулся Мурат и, загнанно сопя, сообщил:

— Все готово, Тото.

Тотырбек перестал мучить глаз и повернул лицо на голос. Рядом с Муратом никого вроде не было. Да и сам Мурат приперся на своих двоих. А должен был — на лошади!

— Что — готово? — буркнул он недовольно. — Люди, кони — где все это?

— У кучиевской сакли — где! — ответил Мурат тоже недовольно. — Или ты решил всем и каждому объяснять, куда намылился?

— Н-нет, не решил... — проговорил Тотырбек, неохотно остывая. — У кучиевской сакли, говоришь? Это ты правильно. Нам как раз в ту сторону.

— Знаю.

— Знаешь? Откуда?

— Да уж догадался! — Мурат ржанул, помолчал и спросил невесело: — Ты уверен?

Тотырбек не ответил. С кряхтеньем поднявшись на ноги, он покрутил головой, ориентируясь, где чего. Потом буркнул: «Пошли», и скорым шагом двинулся в сторону кучиевского двора.

Тмайновы к этому времени замолкли совсем — то ли засели, ошестинившись ружьями, у большой дороги, то ли — что вероятнее — убрались восвояси. Кричать Церебовым стало решительно не на кого, однако они все равно кричали. Весь Тли был на ногах. Тут и там, чадя, горели факелы. Огненные отсветы плясали на раскисшей грязи, выхватывали из темноты перекошенные лица, подрагивающие лошадиные бока, покосившиеся плетни со свежими проломами. Из одного такого пролома — Тотырбек похолодел — выползло на свет что-то черное, блестящее, похожее на гигантскую черепаху, с которой содрали панцирь. Убитых и тяжелораненых (а их оказалось не так уж и мало) несли под родные крыши. В желтых окнах выли женщины. Высыпавшие на улицу вооруженные соседи-мужчины допытывались у участников перестрелки, с кем это они тут воевали. Никто не верил, что нападавшими были Тмайновы («Тмайновы? Из Тиба? Да быть того не может!..»), а те, кто все-таки верил, сейчас же отзывались в том смысле, что таких подлючих подлецов надобно немедленно поставить на место, а то погляди, до чего оборзели! Подобных горлопанов затыкали на корню: жизни всех Тмайновых отныне принадлежали Церебовым, и они ни с кем не собирались делиться правом распоряжаться этими жизнями.

Тотырбек миновал группу яростно спорящих родичей (кажется, поминалось его имя) и свернул в проулочек, ведущий к кучиевской сакле. Там, на отшибе, под тускло светящим окошком, его ждал небольшой конный отряд. Тотырбек посчитал — шесть

человек. Вместе с ним и Муратом — восемь. В самый раз. Он запрыгнул на свободную лошадь, которую придерживал для него мрачный здоровяк Заза Церебов, принял от того же Зазы кинжал, сунул под ремень и тронул лошадь. Отряд цугом потянулся за ним, не спрашивая куда.

Задами, вдоль поросшего осокой ручейка, спустились к выезду на большую дорогу, и Мурат в качестве передовщика выслал вперед Зазу. Тот вскоре возвратился, доложив, что засады вроде бы нет. «Хотя-а-а...» — добавил он с сомнением и на этом замолк. Возникла пауза; Тотырбек не видел, но чувствовал, что все взгляды устремлены в его сторону. Никому не улыбалось по глупости нарваться на тмайновские пули. Но и малодушничать никто не хотел, тем более вот так — вслепую: а вдруг там действительно никого.

— Едем, — сказал Тотырбек, обрывая общие сомнения, и первым пустил лошадь вскачь.

Все как один последовали его примеру — и не просчитались: засада и в самом деле оказалась воображаемой. Отряд по-хозяйски выехал на большую дорогу и, не сбавляя скорости, поскакал на запад.

В трех верстах западнее расположился Кليات — тихий аульчик в десять дворов. В самом центре аульчика, в скромной уютной сакле жил Габо Тмайнов, дальний родственник того самого Леко и старинный друг Тотырбека. Восемнадцать лет назад Тото и Габо, два самоуверенных обалдуя, ходили в Грузию — за баранами. Угнать, разумеется, ни животинки не угнали, но ума-разума поднабрались, а вернувшись в родной Мамисон, с удивлением обнаружили, что злые языки, предугадав исход этой авантюры, заранее окрестили их «стриженными»: пошли, мол, за шерстью, а вернулись стриженные. Прозвище оказалось до того метким, что сразу же прижилось. Однако весело было только окружающим, особенно детишкам, которым, как известно, только дай повод кого-нибудь подразнить. Три паршивейших года ушло у друзей на то, чтобы люди заново приучились обращаться к ним по именам. Сколько было сворочено скул, сломано носов и помято ребер — вспомнить страшно! Но своего юноши добились — «стриженными» их больше никто не величал... Разве что когда один бывший стриженный навещался в гости к другому бывшему стриженному и случалась основательная попойка, — разве что тогда можно было услышать что-нибудь вроде: «Дряхлеешь, Стриженный! На закуску стал налегать!»

И вот сейчас, первым въехав в Кليات, Тотырбек поднимался по единственной улочке к сакле своего друга. Ни одной связной мысли не было у него в голове — какие-то блеклые обрывки без начала, конца и сколько-нибудь внятного смысла вспыхивали в отеком мозгу, напоминая тихий горячечный бред. Он, наверное, и в самом деле бредил, потому что спина и ладони были как намыленные, его мутило, и нестерпимо щипало под веками, словно перся он по июньскому полуденному зною.

Но в то же время он ясно понимал, что делает. И все ближе подъезжая к цели, он чувствовал, как понимание это набухает в нем, словно квашня, поставленная в тепло. И в какой-то момент горячая муть, обволакивающая сознание, отодвинулась вдруг в сторонку, стала ерундовой помехой, а потом и вовсе забылась, как забывается имя однажды виденного неинтересного человека. Тогда Тотырбек поспешно, с затаенной опаской и где-то даже с интересом прислушался к себе: не передумал ли? Нет, не передумал. Давешнее спокойствие и в бреду не покинуло его, скорее наоборот — стало только тверже. Все он делал правильно: ни люди, ни боги, ни совесть не останавливали его, а значит, все шло именно так, как и должно было идти.

Церебовы спешили к нужной сакле, привязали лошадей к плетню и, запалив факелы (Мурат позаботился и о факелах), вошли во двор. Валявшаяся под крыльцом псина разбегалась было спросонья, но, учуяв среди чужаков Тотырбека, с облегчением замолкла. Тотырбек остановился посередине двора, дождался, когда остальные охватят крыльцо подковой, и закричал:

— Га-або!

Гулкое эхо разнеслось по аулу. Стоявшие по бокам Тотырбека Мурат и Заза с одинаковым скользящим звуком потянули из ножен кинжалы. Остальные тоже обнажили кто шашки, кто кинжалы, а двое крайних слева, близнецы Дзахар и Хызир, быстро, но без торопливости привели ружья в боевую готовность: сняли с поясов роскошные, отделанные серебром натруски, ссыпали порции затравочного пороха на полки и одновременно, как отражения друг друга, взвели курки — ч-чик!

— Только своих по запарке не того... — вполголоса предупредил близнецов Мурат, чем вызвал у Зазы глуповатый смешок.

— Габо Тмайнов! — во всю глотку заорал Тотырбек и — вот незадача! — закашлялся, согнувшись в три погибели.

Он кашлял и кашлял, не в силах остановиться, и постепенно стервенел оттого, что так глупо получилось. А когда проклятый кашель наконец отпустил и Тотырбек смог выпрямиться, Габо Тмайнов уже стоял в шаге от него и часто моргал заплывшими со сна веками. Он был в одних трусах и чекмене, накинутом на голые плечи. Из дверей позади него рвался на улицу сын, шестнадцатилетний Сослан. Кто-то тянул парня за запястье, пытаясь затащить его обратно в саклю. Сослан яростно сопротивлялся, упираясь в косяк свободной рукой. Потом ему, видимо, надоело пыктеть, он пнул непускавшего, раздался сдавленный девичий ах, и освободившийся парень, лихорадочно затягивая шнурок на спадающих штанах, сбежал с крыльца и встал подле отца — долговязый, как отец, жилистый, как отец, с необыкновенно гладкой чистой кожей, какая была у Абе. Тотырбек опустил глаза — оба Тмайнова стояли перед ним босые.

— Что стряслось, Тото? — встревоженно спросил Габо.

— Абе убили.

— О господи, кто?!

— Леко Тмайнов.

Последовало молчание. Появившееся было на лице Габо изумленно-гневное выражение (он явно был готов собственноручно покарать убийцу) сменилось сначала непониманием, затем испугом, затем глаза его словно затуманились. Он обвел этими затуманенными глазами людей, пожаловавших к нему посреди ночи, снова посмотрел на Тотырбека и проговорил ровным голосом:

— Дом, хозяйство — забирай, но — отпусти.

— Леко Тмайнов убил Абе, — сказал Тотырбек как бы напоминая.

— Хотя бы семью отпусти, — в ровном голосе Габо появились просящие нотки.

— Леко Тмайнов убил Абе, — настойчиво повторил Тотырбек.

Габо раскрыл рот, чтобы произнести очередную неосуществимую просьбу, но Тотырбек, опережая его, выкрикнул, словно вдавливал прописную истину непонятливому, туповатому от природы ребенку: «Леко! Тмайнов! Убил! Моего! Абе!», — после чего выхватил из-за пояса кинжал и ударил бывшего друга в живот.

Раня ладонь, Габо Тмайнов перехватил лезвие. Это было неожиданно, и в первую секунду Тотырбек растерялся, но тут же опомнился и, остервенев пуще прежнего, рванул кинжал на себя. Любому другому такой рывок запросто обрезал бы все сухожилия, а Габо — удержал. Он и раньше отличался завидной силой — сейчас же она у него наверняка утроилась. В некотором смятении Тотырбек пнул его в голень, потом снова рванул к себе кинжал, на сей раз пытаясь не вырвать его из кулака, а именно поранить сам кулак, чтобы этот чертов Стриженный взвыл, наконец, от боли. И Стриженный действительно взвыл. Выставив перед собой локоть, Габо с воем кинулся на Тотырбека, мощным ударом в грудь сбил его с ног, рухнул сверху и, нависнув, принялся орать ему в лицо попеременно то умоляющим, то угрожающим тоном:

— Хотя бы детей, слышишь? Хотя бы их! Мы ж друзья! Человек ты или кто?!..

Тотырбек все слышал, но ничего не понимал — до того мерзопакостным оказалось у Габо дыхание. Неужели у него и раньше так смердело изо рта? —

пронеслась в голове гадливая мыслишка, потом послышался топот множества ног, и в следующую секунду Тотырбек увидел, как беззвездную черноту за плечом у Габо заслонили вдруг бородатые хари, освещенные зловещими багровыми отсветами. Он не сразу признал в этих харях родные лица, а когда признал, Церебовы уже вовсю кололи Габо. Габо выл стремительно хиреющим голосом, из пасти его прямо на лицо Тотырбеку лилась кровь, а тело делалось все тяжелее. Тогда Тотырбек, до предела отвернувшись, чтобы не попало в рот, заорал: «Хватит! Я сам! Сам!», — затем нащупал в траве рукоятку кинжала, стряхнул с клинка скрюченные пальцы и вонзил его в бок издыхающему. То, что миг назад было Габо Тмайновым, заткнулось и обмякло.

Сразу стало тихо. Только факелы шипели да скулила где-то на грани слышимости перепуганная псина. Задыхаясь под неживой тяжестью, Тотырбек попытался выкарабкаться — безуспешно. Тогда он показал руками: помогите, мол. Мурат и Заза, стоящие ближе всех, кинулись помогать: схватили протянутые руки, потянули, извлекли его из-под мертвеца и поставили на ноги. Тотырбека шатало. Нижняя половина лица была измазана кровью; от мысли, что кровь чужая, к горлу подкатило. Он поискал глазами бочку с дождевой водой. Он смутно помнил, что она должна где-то стоять, кажется, у сарая. Ага, правильно. Разглядев бочку, он немедленно двинулся к ней, по пути споткнувшись о тело Сослана, лежащее почему-то в пяти шагах от отца, — убежал он, что ли?..

По счастью, весь вчерашний день ливня лил дождь, поэтому бочка стояла полной. Тотырбек с ходу налетел на нее и, следя, чтобы в воду попало как можно меньше дряни, промыл лицо, высморкался и тщательно прополоскал рот. Потом перегнулся через край бочки и, погрузив вытянутые трубочкой губы в освежающую прохладу, принялся хлебать огромными жадными глотками, от громкости которых закладывало уши. Он очень желал и никак не мог напиться, никогда с ним такого не бывало. Отчаявшись, он окунулся в воду по плечи и попытался пить так. Черта с два! Вода сразу забилась в ноздри, и он стал захлебываться — вынырнул, страдальчески кашляя и ощущая неприятное бульканье в ушах, а откашлявшись, заорал, словно понял, что водой, сколько ее, паскудину, не пей, тут не поможешь:

— Дыса! Выводи своих щенят! И сама выходи!

Дыса, жена Габо Тмайнова, вздрогнула, услышав эти слова. Когда муж, а вслед за ним и старший сын выбежали во двор, она на что-то надеялась. Когда снаружи донеслись возня и вопли, она продолжала на что-то надеяться. И даже когда затем наступила жуткая недвусмысленная тишина, надежда еще теплилась в ней... И вот ее назвали по имени. И про детей не забыли. Сидя на краешке кровати, она крепче прижала к себе шестилетнего Ацу и тринадцатилетнюю Езету — дети тихонько хныкали, уткнувшись мокрыми личиками ей в грудь.

— Дыса! — донесся с улицы все тот же голос. — Не вынуждай осквернять очаг, возле которого я ел!

Дыса Тмайнова посмотрела на очаг. Мощная цепь спускалась от отверстия в потолке к полу, где было квадратное углубление для разведения огня. Стена возле этого углубления выгибалась, образуя нишу. И углубление для костра, и ниша были аккуратно обложены скальным плитняком. Два крючка у конца цепи были свободны, лишь на третьем, самом большом, в палец толщиной, висел черный от въевшейся копоти казанок, накрытый куском лаваша. Вкусный запах остывшей лывжи и свежепеченого, размякшего над лывжой хлеба как ни в чем не бывало разносился по комнате. Было в этом что-то дико неправильное, но Дыса, глядя на свой очаг, думала о другом.

В подвижных оранжевых отсветах, падающих из окон, очаг, как всегда, казался образцом прочности, внушавшим невытравляемое чувство уюта и уверенность в завтрашнем дне. Все, за что брался Габо, получалось таким, по-другому он просто не умел ничего делать. За это его, наверное, и уважали тем особым горским уважением,

которое при ближайшем рассмотрении оказывалось самой обыкновенной завистью, иногда — белой, благородной, но чаще — черной, злобной. И вот нет больше Габо, а зависть к нему осталась, ибо стоит еще его сакля, тлеют угли в его очаге и дышат еще его дети... двое последних детей, которые получились у него такими же, как всё, за что он брался. Ох, Габо, Габо! — простонала Дыса про себя. Что мне делать, как быть?.. Ей вдруг вспомнилась жуткая, якобы подлинная история, которую поведала ей когда-то покойная ныне свекровь: там, в этой истории, мать умертвила дочерей, дабы над ними не надругались убийцы мужа... «Не-ет, никогда!» — ужасаясь собственным мыслям, отдернула себя Дыса, а потом повторила — тверже, чтобы точно не осталось никаких сомнений: «Нет. Никогда».

Тут натянутые на рамах бычьих пузыри с хрястом лопнули — в комнату полетели камни. Дети пронзительно завизжали. Дыса, соскользнув с постели, прикрыла их своим телом, но тщетно. Езета вдруг дернулась и заплакала — это ей в кровь поранило стопу. Среди звона бьющейся посуды и грохота камней, с искрами отскакивающих от стен, плач Езеты почти не был слышен, но маленький Аца услышал и, разумеется, заплакал вслед за сестрой. Так они и плакали, вцепившись в мамину сорочку, а мама не решалась спрятать их под кровать, так как большая часть камней, вдоволь наскакавшись по комнате, оказывалась именно там.

Потом все прекратилось. Камни перестали залетать в окна, дети постепенно замолкли, и в наступившей хрупкой тишине снова раздался голос:

— Выходи, сука, иначе крышу подпалю!

Эх, Тото, Тото, что же ты творишь?

— Мама, мне страшно, — пролепетал Аца, отнимая от маминой груди бледное личико с неправдоподобно большими заплаканными глазами.

— Чш-ш-ш, — ласково прошептала Дыса. — Ну, что ты, маленький? Все хорошо. Мы с Езетой тебя в обиду не дадим. Правда ведь, Езета?

Бесшумно всхлипывающая Езета закивала так истово, что со щек ее посыпались слезы.

— Вот видишь, — шепнула Дыса. — А ты боялся. Нет, ничего с моим Ацамазом не случится, он ведь такой храбрый, такой послушный. Ты ведь послушный? Ты должен быть послушным. Будешь?..

С этими словами она протянула руку к раненой стопе дочери, обмакнула в кровь два пальца и принялась мазать этой кровью по-отцовски широкий лобик мальчика...

К сакле тем временем набежали соседи Габо Тмайнова — десяток вооруженных кто чем мужчин с глазами навыкат и примерно столько же тщедушных безбородых юнцов, то и дело опасливо озирающихся по сторонам. Разглядев, КОГО они собираются приструнять, набежавшие моментально приструнились сами. Церебовых здесь знали, и никому не хотелось путаться у них под ногами, тем более когда такое дело... Лишь какой-то старикан в простенькой чабанской папахе приблизился к калитке, вытянув морщинистую шею, заглянул во двор и проговорил с тоскливым осуждением:

— Что ж вы так круто, а? И Габо, и паренька вон убили. Ай-яй-яй!.. Теперь что, за женщин взялись? Из сакли выковыриваете?

— Не лезь не в свое дело, — буркнул Тотырбек через плечо.

Старикан боком, по-крабьи, проковылял вдоль плетня, остановился напротив Тотырбека и продолжил, обращаясь уже непосредственно к нему:

— Нехорошо, ох, нехорошо поступаешь, сынок. Это ведь женщины — мать да дочь. Что они тебе могут сделать?

— Породить новых ублюдков, — сказал Тотырбек. Зря сказал. Получалось, что он оправдывается.

— Каких ещ-щ!.. — Старикан аж задохнулся от возмущения. — Каких еще, прости господи, ублюдков?! Да эти бабы, коли живы останутся...

— Всё, всё, — морщась, оборвал Тотырбек. — Сразу видно — Боциев: сядет

на уши — не стащишь. И без тебя знаю, кто в сакле. Только не делай мне удивленное лицо! Мальчонку решил выгородить? Молодец. Очистил совесть. Теперь поворачивай оглобли и дуй домой. — Он обвел глазами остальных набежавших. — И вы — тоже.

— Ну, что встали? — рывкающим басом поддержал его Мурат. — Валите отсюда, пока целы!

Соседи, неуверенно переглядываясь, попятились в темноту. Лишь старикан остался на месте. Тотырбек искоса поглядел на него, сплюнул и взял у Дзахара — или Хызира?... — ружье. Он собирался сбить со старикана папаху, но тут дверь на крыльце со скрипом раскрылась, и Тотырбек вынужденно обернулся.

Из сакли, прихрамывая, вышла Езета — босая, встрепанная, в одной ночной сорочке, пола которой уже была в крови. Эту девчушку Тотырбек прочил в жены своему Абе, многожды заводил с Габо полуофициальные разговоры на этот счет, но, как и все Тмайновы, Габо медлил. Выжидал... И выждал — на свою голову. А мог бы, между прочим, спасти хотя бы ее. Выдал бы вон за тех же Боциевых, скажем, — глядишь, и спряталась бы от церебовского гнева...

Сразу за Езетой показалась Дыса, прямая и скорбная. На руках она несла безжизненное тельце сына — личико Ацы было разбито в кровь, свесившаяся ручка с полураскрытым кулачком болталась в такт маминым шагам. Дыса остановилась на краю верхней ступеньки, искала глазами Тотырбека, нашла и, вперившись, ненавидяще процедила:

— Смотри, подлец, смотри!

Она приподняла и немного вытянула перед собой мальчонку, и на секунду Тотырбеку показалось, что сейчас мертвое тельце швырнут ему под ноги. Но нет. Дыса лишь показала, что наделал наугад брошенный камень, потом бережно положила сына около резных перил, выпрямилась и, взявши всхлипывающую дочку за руку, стала спускаться с крыльца.

Было очень тихо, даже псина больше не скулила. Когда последняя ступенька осталась позади, губы у Езеты запрыгали, и она попятилась было обратно на крыльцо. Дыса насилу притянула ее к себе и зашептала что-то на ухо. Закусив губу, Езета отчаянно, с каким-то щенячьим повизгиванием замотала головой, но мама все шептала ей на ухо, и в конце концов Езета судорожно перевела дух и перестала вырываться. Тогда Дыса снова отыскала глазами Тотырбека и проговорила все так же ненавидяще:

— Ну, что, Тото? Вот она я. Вот моя дочь... Да только очаг ты все равно осквернил. Сколько тостов произнес над ним, сколько заверений в преданности! Нет, не простят тебя другие очаги — подавишься когда-нибудь вкусной куриной косточкой...

Говоря это, она стала медленно продвигаться вдоль стены, прочь от крыльца; хромающая Езета, как на незримом поводке, шла за ней по пятам. Церебовы раздробленной группкой зеркально повторяли это перемещение.

— ...А когда подавишься, — говорила Дыса, — когда потемнеет в бесстыжих твоих глазах... когда почувешь этот запах, который чувствую сейчас я, — вспомни тогда эту ночь. Вспомни меня, моих детей и мужа — и знай: это наше проклятье настигло тебя. — Она бросила быстрый взгляд поверх церебовских плеч, пытаясь, очевидно, разглядеть тела Габо или Сослана, и вдруг потеряла выдержку. — Подлец ты, подлец! — простонала она. — Как такого земля носит? Да я б самолично тебя отравила, если б знала, какой ты!..

Тотырбеку, наконец, надоело. Перестав слушать и слышать, он, набычившись, устремился наперерез говорившей. Остальные двинулись за ним. Они настигли мать и дочь на углу сакли и после короткой, но яростной борьбы умертвили обеих. Каждый старался внести свою лепту в общее дело, и поэтому, когда все было кончено, Церебовы, сбившись в плотную кучу, дышали как загнанные. Ощущая чудовищную духоту, Тотырбек с боем выбрался из этой кучи и задрал голову, подставляя лицо сырой

ночной прохладе. Ощущение духоты не проходило. Лицо горело — эта сука, перед тем как ее повалили, исцарапала ему все щеки. Вот же сволочная фамилия! А ежели они все так тяжело дышат?.. Что ж, подумал Тотырбек, криво улыбаясь. Переживу как-нибудь...

Взгляд его случайно упал на бочку у сарая, и он снова захотел пить. Он направился напрямик к бочке, но, проходя мимо крыльца, вдруг замедлил шаг, а затем и вовсе замер. Что-то было не так. Он хмуро заозирался. Сердобольный старикан у плетня, обхватив голову руками, качался из стороны в сторону. Родичи трепались на углу. Мертвый Сослан, разбросав руки, валялся поодаль. Не менее мертвый Габо тоже был на месте. Та-ак... И вдруг Тотырбек понял.

— Мальчонка! — завопил он, уставившись на пустое крыльцо. — Эта сука нас обдурила!

Родичи на секунду притихли, повернув к нему непонимающие лица, потом заматались по двору. Поднялся переполох. Мурат, грязно матерясь, скрылся за углом. Заза устремился следом. Близнецы, выхватив у кого-то факелы, выбежали за калитку и начали носиться туда-сюда по улочке, разбрызгивая оранжевые огоньки.

Бормоча: «Раззявы слепые!», Тотырбек метнулся к крыльцу, упал на колени и заглянул под лестницу. Псина трусливо тявкнула из темноты. Он схватил ее за загривок и вышвырнул из укрытия. Потом принялся лихорадочно шарить под лестницей, перелопачивая ладонью теплую умятую солому, хотя уже знал, что мальчонки там нет. Аца — умный малый, а мать его, которая все это и придумала, была еще умнее. Нет, ему сейчас одна дорога — прочь... Тотырбек бросился к старикану, сграбастал его за грудки и заорал:

— Куда он побежал?

— Их-то за что?.. — ошеломленно бормотал старикан. — Они ж и оружия никакого не вынесли...

— Отвечай, чтоб тебя! — заревел Тотырбек. Он едва слышал себя из-за мощных толчков крови в ушах. — Уничтожу! Вместе с Тмайновыми в землю уйдешь — говори!

Но старикан лопотал что-то насчет бедных женщин и оружия, которого они не вынесли, и ничего больше знать не хотел. Черт его разберет, подумал Тотырбек, унимаясь. Может, тоже проглядел... Он брезгливо отпихнул старикана и побежал в саклю. Надо было на всякий случай проверить там, а затем хорошенько потрясти всех соседей в околоте.

Маленький Аца к тому времени был на полпути к большой дороге. Мама велела ни на секундочку не останавливаться, вот он и не останавливался, хотя так и тянуло забраться вглубь соседского огорода и снова притвориться мертвым. Он готов был притворяться хоть тысячу лет, но поклялся маме сделать все так, как она велела, а мужчины слово держат.

Было очень страшно, так страшно, что он дважды обмочился. Первый раз — когда, лежа на крыльце, услышал, как мама с сестрой отходят от него все дальше и дальше; второй раз — уже на улице, когда позади раздались крики и до него дошло, что его хватились.

Мама объяснила, что это такая игра, наподобие прятков, что играют в нее взрослые по своим, взрослым правилам. Но он догадывался, что никакая это не игра. Он только никак не мог представить маму мертвой. Наверняка она тоже, как и он, притворилась, а когда все бросились на его поиски, быстренько поднялась и под шумок улинула, прихватив раненую Езету с собой. Езета, конечно, притвориться не сумела, вот ей и досталось маленько.

Он думал так до тех пор, пока его не стали выкликать по имени. Тогда он запретил себе думать о маме, о Езете и вообще обо всем, что творилось у него за спиной. Он

понял, что его мысли слишком громки, что их слышат злые люди и извлекают из этого пользу, — иначе как они могли прознать его имя?

На дядю Тото он не думал. Тот крикун, называвший маму «сукой», был просто на него похож. Это он специально притворился дядей Тото, подделал его голос, дабы выманить из сакли сначала папу с братом, а затем и маму с сестрой.

Мама велела сойти с большой дороги в долину и идти пастбищами вдоль реки. Так он и сделал. Еще она велела ни в коем случае не плакать, даже если очень захочется или, скажем, ему вдруг почудится, что он заблудился. И он действительно ни разу не всхлипнул, хотя бесчисленное количество раз терял направление, а плакать «просто так», как девчонке какой-нибудь, хотелось постоянно.

Иногда слева, наверху, где была большая дорога, показывались всадники с горящими факелами в руках. Тогда он садился на корточки и, замерев, ждал, когда они проедут. Почему-то если он следил за всадниками глазами, они проезжали медленно-медленно и часто вертели головами. И наоборот — если он закрывал глаза и задерживал дыхание, всадники проносились стрелой, а потом долго не появлялись.

Река все время шумела справа. Он старался не отдаляться и не приближаться к этому шуму, ибо если отдалиться от него, то можно было заплутаться в кочковатой темноте, а если приблизиться — запросто замерзнуть. Он и без того дрожал и шмыгал носом, вдобавок на реке, по слухам, водились гадюки.

Один раз трое всадников, вместо того чтобы, как всегда, проехать мимо, остановились на обочине, прямо напротив него, постояли немного и вдруг один за другим стали спускаться в долину. Аца понял, что это он — опять, дурачина, подумал слишком громко! Он плюхнулся на живот и, обдирая коленки, пополз задом, забился в какие-то пахучие кусты и долго лежал там, посасывая большой палец. Всадники, то разбредаясь, то снова съезжаясь, сновали вокруг с ярко горящими факелами, обшаривали многочисленные рощицы, вглядывались в глубь буераков, плевались и переругивались, а потом пошел мелкий дождик, — они съехали в последний раз и убрались обратно на дорогу.

Аца больше не вынимал пальца изо рта. Мало того, что это само по себе успокаивало, вдобавок на преследователей действовало похлеще любых других уловок. Один всадник дважды проезжал мимо его укрытия — так близко, что по освещенной оранжевым светом руке пробегали тени от листьев, — но даже ухом не повел, хотя его проклятушая лошадь так и фыркала: вот он, мол, беглец, чего не хватаешь?

Чего-чего? Палец — вот чего!

С пальцем во рту он брел под дождем.

С пальцем во рту дождался его окончания.

С пальцем во рту увидел, как бледнеет небо над горами впереди.

К этому моменту он совсем выбился из сил и, разглядев в предутреннем свете одинокую перекособоленную саклю у реки, сейчас же, не думая, свернул туда. Мама предупреждала и на этот счет, но уж очень он устал, промок, продрог, ужасно хотелось погреться и чтобы хоть кто-нибудь его пожалел. Немножечко. Самую малость.

Он постучался в щелястую дверь и на недовольный вопрос «Кого там опять принесло?» постучал еще раз, настойчивей. Ему открыла седая, точно старуха, женщина, кутающаяся в белесый, тоже как бы седой шерстяной платок. Увидев голенького, в одних подштанниках, Ацу, она дважды моргнула и молча посторонилась. Аца вошел и едва не застонал от наслаждения, когда спертая, как в хлеву, теплота коснулась кожи. Женщина провела его к очагу, усадила на циновку и накинула ему на плечи свой платок. Грубая шерсть сильно кололась, но Аца не замечал этого. Он вообще ничего не замечал — мелко дрожа, посасывал палец и безучастно следил, как женщина, присев на корточки, дует на тлеющие угольки в очаге и подбрасывает хворостинки просыпающемуся огоньку.

— Ну, — сказала она, когда костерок занялся. — Рассказывай, каким ветром принесло тебя к бедной вдове.

Аца не отозвался. Чтобы говорить, надо было вытащить палец изо рта, а этого он не хотел.

— Молчишь, — сказала вдова с неуловимым осуждением. — Что ж, помолчи, погрейся... А я пока схожу козочку подою, с ней побеседую. Любишь козье молоко? Правильно, я тоже.

Она вышла, и у Ацы тут же стали тяжелеть веки. Какая хорошая женщина, сонно подумал он, укладываясь боком на циновку. Добрая, заботливая, впустила сразу. Сейчас еще молочка принесет... Нет, мама, тут ты ошиблась. Бояться нужно только всадников, а остальные — как не помогут?

И вдруг он вспомнил, что проворчала вдова, когда он только постучался. «Кого там ОПЯТЬ принесло?» Опять? Получается, к ней что, еще кто-то приходил? Мама с Езетой? Или, может, еще какой-нибудь мальчик — она ведь совсем не удивилась, увидев меня...

Он сел. Сна не было ни в одном глазу. Трещали хворостинки в очаге. Очаг был крохотный, жалкий, не то что дома. И дымок от огня был жалкий — он, клубясь, поднимался к серому от пыльной паутины потолку и исчезал в круглом отверстии. Ацу вдруг охватила смутная тревога — даже палец во рту не помогал. Он медленно подтянул под себя ноги и поднялся — шерстяной платок, гадко царапая, съехал с плеч и упал на циновку. Ощущение тревоги усиливалось. А когда он разглядел на полке у стола глубокий тазик для дойки — точь-в-точь такой же, как у мамы, — все тут же стало яснее ясного.

Вдова вовсе не к козочке пошла! Куда она будет доить — в подол, что ли?!

Он кинулся к двери — стукнулся и отпрянул. Заперт! Ах ты, предательница! Разглядев в полутьме единственное окошко, бросился к нему и попытался дотянуться. Куда там! Езета — она б дотянулась... Он побежал к столу, выхватил из-под него трехногий стульчик и вернулся к окошку. Со стульчика кое-как влез животом на подоконье, но тут его ждала очередная помеха. Бычий пузырь. Сначала он толкался в него лбом — пузырь лишь туго прогибался, как кожа на барабане. Тогда он высвободил из-под живота руку и попытался процарапать пузырь ногтями — с тем же успехом. Пришлось слезать на пол и бежать к полке за чем-нибудь острым. Ножа он, как ни искал, не обнаружил, зато нашел медный половничек. Снова взобравшись на подоконье, он продырявил пузырь в нескольких местах рукояткой, потом боднул его. Пузырь разорвался неожиданно легко, и Аца чуть не вывалился из окна лицом вперед. Падать, впрочем, пришлось все равно — но уже по собственной воле.

Очутившись на улице, он немедленно бросился бежать — и вовремя. Не успел он скрыться за ближайшими зарослями облепихи, как у сакли показались три всадника — вроде те же самые, но уже без факелов. Аца увидел, как они, спешившись, задевая друг друга локтями, несутся к двери, потом отвернулся и, сунув палец в рот, побежал сам.

Утро было в самом разгаре, когда он добрался до Тиба.

Мама говорила, что если у него это получится, то, считай, игру он выиграл. В Тибе его никто не тронет, а если тронет, дядя Болат такому мигом шею намылит. Аца не помнил никакого дядю Болата, но был уверен, что дядя Болат помнит его. А если даже и не помнит — не беда. Родни у папы — завались, кто-нибудь да вспомнит.

Чуть ли не ползком взобравшись по каменистому откосу на большую дорогу, он наткнулся на завал. Въезд в Тиб перегораживали свежесрубленные вековые сосны. По-над гребнем завала виднелись головы в папах, черные зрачки ружей, не шевелясь, смотрели на дорогу.

С трудом переставляя гудящие ноги, Аца приблизился к завалу и стал ждать. О таком мама ни словом не обмолвилась, а значит, ничего другого не оставалось.

Он ждал, угрюмо посасывая палец, и вскоре сверху прыгнул какой-то здоровенный бородатый дядька в темно-красном чекмене, оттянутом на ребрах камышовыми газырями.

— Ты чей? — спросил дядька ласково и в то же время настороженно.

Аца поднял на него глаза и собрался было ответить, что мамин, чей же еще? — но даже пальца изо рта высунуть не сумел.

...Немного позже, когда его вымыли, накормили и, обработав тыщу царапин по всему телу, повели к постели, — он мельком увидел себя в зеркале. Узкая седая прядь спускалась от макушки к уху, как будто в черных волосах запуталось белое голубиное перышко. Это все платок, понял Аца, сворачиваясь калачиком под двумя одеялами. Вдова заразила платок, платок — меня, теперь от меня и остальные поседеют.

4

Когда самая трудная часть подъема осталась позади, Дина обернулась. С этой высоты Тиб был как на ладони, его можно было заслонить двумя пальцами. Создавалось ощущение, что когда-то давно огромную грудку неотесанных камней смыл с горы чудовищный сель, донес до устья лощины да и ахнул о скалу слева с такой щедрой силой, что камни, отскочив, сами собой сложились в сакли. И только потом сюда пришли люди, подивились диковинному беспорядку, в котором расположились жилища неведомых строителей, махнули рукой и стали в этих жилищах жить. Шло время, постепенно сакли обзавелись пристройками, огородами, сараями, скотными дворами, а некоторые — кому повезло с хозяевами — даже башнями. Но диковинный беспорядок никуда не делся, наоборот — стал еще навязчивей. Как будто камни, из которых были сложены сакли, никак не могли забыть тот давний день, стремительный спуск с горы и щедрую силу, с какой их шарахнуло о скалу и разбросало по лощине вдоль обоих берегов узкой речушки. Речушка текла по дну оврага, черные склоны которого представляли собой затвердевшую смесь острого щебня, гальки и грязи. Весной, во время таяния снегов, сели, бывало, низвергались с горы, но ни в какое, конечно, сравнение не шли с тем первым селом, породившим аул.

Дина пригляделась к завалу, который устроили мужчины у въезда. Уже несколько дней там круглосуточно дежурили, но Церебовы все не показывались. Хотя зачем им это? Они и без того здорово гульнули в Клиате. Бедный мальчик вон речь потерял, седобой обзавелся — так они, мерзавцы, гульнули... Дина проследила взглядом за речушкой. Серебряная ленточка, извиваясь и рябась, рвалась к выходу из лощины, подныривала сначала под завал, затем — под мост на большой дороге и бежала дальше, вниз, наискосок через долину, пока наконец не впадала в Мамисондон, главную реку ущелья. Рев Мамисондона досюда, конечно, не долетал, но было видно, какая страшная борьба происходит в тех местах, где мощное течение встречается с гигантскими валунами. Правым своим боком река льнула к подножию горы, которая почти вертикально вздымалась черт-те куда, заслоняя собой полнеба. Гора эта тянулась с востока на запад, и краев ее видно не было; густые хвойные леса, как шерстью, покрывали ее склон, лишь кое-где ярко желтели расширяющиеся книзу проплешины — следы многочисленных обвалов. Если приглядеться, в центре каждой такой проплешины можно было заметить сероватые ниточки ручейков. То были извечные виновники обвалов. Раз в несколько лет они сбрасывали с горы так много породы, что на реке случался затор, и она растекалась по долине, затапливая жилища, губя хозяйство и прогоняя людей на северную сторону ущелья — в лощины, где жили более удачливые в этом плане соседи.

Дина отвернулась и продолжила подъем. Склон был вдоль и поперек проторен зигзагообразными, в ладонь шириной, тропками — скотина постаралась. Если б не Церебовы, сейчас бы здесь паслась всякая живность, раздавалось бы безмятежное

мычание, меканье, хрумканье, а мальчишки-чабаны, прикрыв прыщавые лица широкополыми войлочными шляпами, дремали бы в прохладной тени шалашей и время от времени, не просыпаясь, шикали бы на разбредавшихся собак. Но из разумной предосторожности Тмайновы и остальные тибчане угнали свою скотину на восточные склоны, подальше от Тли и их обитателей. Непонятно было, что делать дальше: ведь наверняка и Церебовы — из той же предосторожности — водили скот куда угодно, только не в сторону Тиба. Пастбища между аулами пустовали, подножный корм пропадал, старики с тоской качали бородами.

Вскоре подъем стал совсем пологим, и можно было больше не петлять коровьими тропками, а идти напрямую. Дина двинулась к березовой рощице, вдали за которой уже можно было разглядеть столбик дыма, косо уходящий в небо и растворяющийся в низком облаке с фиолетово-серым исподом. Что же ты, дура, делаешь? — спросила она себя, когда дырявая тень рощицы накрыла ее. Ведь ничего хуже нет. Таким и детишек не пугают — грешно. Дажедохлый муженек твой святым покажется, ежели не остановишься... В который раз ее передернуло от воспоминания о Заурбеке (сразу заныли отсутствующие уши), но она уже уцепилась за последнюю мысль насчет «остановиться», и поэтому до своеобразного скрежетания зубами дело не дошло. А что? — подумала она неуверенно. Вот остановлюсь сейчас. Плюну, да и потопаю обратно. И к воронам все! Это ж действительно хуже некуда... Или все же есть куда? Она осторожно, не давая воли воображению, прикинула. Да, подумала она с горечью. Есть куда. Еще как есть. Точнее — будет. Случится. Обязательно произойдет, когда я его увижу, дотронусь, вдохну запах... Мама говорила, что запах — это всё, на всю жизнь и даже дольше... Нет, надо идти. Иди, черт тебя дери!

Она ускорила шаги. Спутанная трава под ногами разрывалась с сочным хрустом. О лицо стукались тяжелые зеленые мухи. Холодный ветер задувал под подол, шевелил над головой листву, отчего она идиллически шепелявила. Дина с нарочитым вниманием присматривалась к каждой березке, к каждому кустику душицы, мимо которых проходила, и упорно не желала прислушиваться к своим ощущениям, а тем более — облекать эти ощущения в мысли. Но мысли все равно появлялись — тяжелые, муторные, размягчающие волю. Тогда она принялась считать шаги — сначала вслух, отрывисто, почти как русские солдаты на марше, затем, поняв, что уловка действует, — про себя. Она восемь раз досчитала до ста и еще раз до тридцати двух, прежде чем подошла к жилищу Носатой Нино.

Назвать это просевшее строение «саклей» язык не поворачивался. Скорее — хижина, какие сооружают бедняки-переселенцы: возведут четыре стены из самана, обмажут изнутри смесью глины с конским пометом, накроют все это безобразие не менее безобразной камышовой крышей — и живут. Только у бедняков эти хижины всегда до поры, а Носатая Нино жила тут, на горе, задолго до рождения Дины. Мама божилась, что и во времена ее детства Носатая Нино обитала в этой самой хижине, более того — уже тогда была старой. Что ж, может быть и так. Кто знает этих знахарок...

Дина протиснулась в приотворенную калитку, давно и намертво вросшую в землю, и по утоптанной дорожке направилась к низенькой двери с огромной щелью понизу. Слева от дорожки тянулись ровненькие грядки помидоров и лука, а справа, в тени под раскидистой грушей, паслась привязанная к торчащему из земли колышку черная овца. Шерсть ее была так длинна, что свалилась в плотные, пыльные, очень противные на вид колтуны. Над овцой, вцепившись когтями в ветку, восседал кочет с выбитым глазом. Дина все еще считала шаги и только поэтому не испугалась, как пугалась каждый раз, когда ей в детстве рассказывали про этого кочета. Серго, помнится, до слез ее доводил: ненавидит, мол, этот кочет двуглазых девочек и ежели где встретит — всё, пока не выколет глазик — не отцепишь, ха-ха-ха!

Дина поднялась на единственную ступеньку крыльца и, взявшись за пеньковый шнур, служивший на двери ручкой, потянула к себе. Дверь — обтянутый шкурами

каркас — со скрипом открылась, и Дину обдало волной влажного, необыкновенно вкусного запаха.

— Заходи, не впускай мне сквозняка! — закричал из глубины хижины хриплый голос.

Дина поспешно шагнула в душную полутьму и прикрыла дверь. Из щели внизу сразу засвистело.

— Ну, что застыла? — раздался голос. — Проходи.

На ватных ногах Дина пересекла сени и попала в небольшую горницу с закругленными углами. В правом дальнем углу горел очаг, над ним булькала в казанке густая мамалыга. С видимым усилием помешивая варево длинной деревянной ложкой, у очага сидела Носатая Нино. Она была именно такой, как рассказывали: длинный мясистый нос с горбинкой, маленький рот, похожий на отверстие в копилке, глаза-бусинки. Черное платье пестрело разномастными заплатками. Из-под черной же косынки торчали плоские мочки ушей. Кисти рук были по-мужски широкие, мосластые, с выпуклыми венами. Она сидела босиком, и огромные стопы тоже были сплошь в венах — мощных, в мизинец толщиной. Дина не взялась бы назвать ее возраст. Носатая Нино была стара, очень стара, но ни о какой дряхлости не могло быть и речи. Как будто время надолго задержало ее в зрелости. Даже глазки ее не выцвели — светло-зеленоватые, они смотрели с хитрым подзуживающим выражением, какое можно наблюдать у распутной дурочки.

— Насмотрелась? — ернически осведомилась знахарка. — Тогда садись вон к окну, дай теперь я на тебя погляжу.

Дина послушно уселась на лавку. Рамы на окне не было, и на лицо веяло прохладой. Носатая Нино, помешивая мамалыгу, пялилась с неопределенной улыбкой. Дина терпеливо ждала.

— Ага, — сказала Носатая Нино через какое-то время. Потом достала ложкой немного мамалыги, подула, попробовала, приподняв глазки, и протянула с преувеличенным наслаждением: — М-м-м-м-м!..

Дина почувствовала себя обманутой.

— Что — ага? — спросила она.

— Чего?

— Ты сказала «ага». Что — ага?

— Ну как... — Носатая Нино двумя пальцами тронула мочку уха. — Сочувствую. Для такой красавицы это, наверное... трагедия.

Дине сразу захотелось проверить повязку — не съехала ли? а может, опять кровь проступила?.. Но она сдержалась и проговорила, стараясь, чтобы получилось по возможности легкомысленно:

— Всегда было интересно, откуда ты все знаешь. Одна ведь живешь, никто из наших к тебе не ходит.

— Так уж не ходит! — весело возразила Носатая Нино. — А знахаркой я, стало быть, сама себя обозвала?.. Что касается «откуда» — так ведь надо всеми живу! Эхо вверх стремится, тут я его хочу — не хочу, а слышу. Вот и за тебя услышала.

— И что же ты услышала?

Носатая Нино отмахнулась от вопроса и спросила сама:

— Ты ко мне тайком пришла?

— А что? — поинтересовалась Дина.

— Стало быть, тайком, — истолковала ее ответ Носатая Нино. — Впрочем, когда было по-другому? Что-то не припомню. Наврут семье, что, мол, на охоту, по косую, а сами — к Нино: помоги, мол, Нино, суставы совсем ни к черту стали... Или абреки. Притащат продырявленного товарища — лечи! А он уже отходит. Ну, что делать? Лечу, как могу. И хоть бы один опосля проведаль, полюбопытствовал бы, как оно у меня тут... Хотя это я уже наговариваю. Нет-нет, а проводывают. Старая я стала, вот что, —

призналась она со вздохом. — К людям хочется, к теплу. А вы привыкли, что Нино одна живет...

— Так спускайся, — сказала Дина.

— Ага! А меня — поганой метлой? Не, обойдусь. Всю жизнь гордячкой пробыла, поздно привычки менять... Да и не так уж мне плохо, коли разобраться. Одиноко? Да. Скушно? Нисколько! Порой настолько нескушно, что хочется, наоборот, — покоя, тишины. Впрочем, и этого тут вдоволь... Теперь вот, — она заулыбалась, — дочь самого Леко пожаловала. Он-то уже вряд ли покажется.

Дина с сомнением прищурилась.

— Хочешь сказать, к тебе отец приходил? — спросила она. — Мой отец?

— А что такого? — простодушно удивилась Носатая Нино.

— Нет, ничего. — Дина отвела глаза.

— Да говори, не стесняйся!

— Ничего, — повторила Дина.

Носатая Нино фыркнула с шутливым пренебрежением.

— Не верит! — Она наклонилась и заглянула под лавку, на которой сидела Дина. — Слышь, подруга? Не верит!

Дина тоже заглянула под лавку. Подругой оказалась спящая собака — белая, лохматая и, судя по размерам живота, беременная. У Дины поджались пальцы в чувяках.

— Порода у тебя, девочка, и впрямь здоровее некуда, — продолжала между тем Носатая Нино. — Никакие хвори не берут, кроме самой что ни на есть главной, которая и не хворь вовсе. Но и на здоровых существуют... м-м... — Она защелкала пальцами, подбирая слова. — Э-эх! — сказала она расстроенно. — Голова совсем дырявой сделалась!.. Давай-ка я лучше на примере. Возьмем черепах. Они живут о-очень долго, несколько человеческих жизней. И все это время растут. Но умирают вовсе не от старости. А от чего? — спросишь ты. От слепоты, отвечу я. И тяжести панциря. Совершенно здоровые, но слепые и неповоротливые, они становятся не в состоянии добывать себе пропитание. Понимаешь? Эта штука, которая и не хворь вовсе...

— Смерть, — вставила Дина.

— Да. Так вот, она очень... мудра, что ли. Но не по-человечески, а как бы... м-м... — Носатая Нино снова пощелкала пальцами. — Ну, ты поняла.

— Да, — сказала Дина. — Кажется.

— Кажется ей... — проворчала Носатая Нино и вдруг выпалила: — Эту мудрость не отличишь от равнодушия! Не отличишь от жестокости или сочувствия! Вот такая это мудрость. И в этом ее величие. Но опять же: что не велико по сравнению с человеком?

Видно было, что знахарке просто хочется поболтать, поделиться мыслями. Но Дина не собиралась играть роль новой подруги — хватит и этой, под лавкой.

— Зачем отец к тебе приходил? — спросила она.

Носатая Нино пожала одним плечом.

— Так я ж говорю: с глазами у него беда — слепнуть стал.

— Отец — слепнуть? — не поверила Дина.

— Ну да. Я ему голубятины посоветовала побольше трескать, а тут ты... то есть с тобой... В общем, неудивительно, что Церебов его поранил.

— Он был моложе отца, — буркнула Дина.

— Моложе-то моложе, — сказала Носатая Нино. — Но куда этой молодости до старика Тмайнова! В свое время папаша твой такое вытворял — Батрадзу¹ не снилось.

¹ Персонаж Нартовского эпоса, почти неуязвимый герой-воин.

— Ты ему поможешь? — спросила Дина.

— Кому? Батрадзу? — Носатая Нино хихикнула, но видя, что Дине не до шуток, вздохнула и проговорила поясняяще: — Такое не лечится. По крайней мере, сейчас. Я, конечно, могу притупить боль, и вообще... Но ведь прогонит. Я его, старого ворчуна, получше многих знаю... Кстати, как он — держится еще?

— Бредит, — сказала Дина угрюмо. — Требуется, чтоб мы вернули калым. А как его вернуть, ежели промеж всей родни поделили?

— Да, дела... — сочувственно проговорила Носатая Нино, сумев при этом сохранить на лице ерническое выражение. — А как брат?

— Не лучше. То есть лучше, конечно, но ненамного... Ребра у него сломаны. И правая рука не слушается.

— Это вывих, — сказала Носатая Нино со знанием дела.

— Нет, — возразила Дина. — Ключица.

— Что — ключица?

— Треснула. Вот здесь.

— С чего взяла?

— Каха сказал.

— Каха, Каха... — задумчиво проговорила Носатая Нино. — А! Это который костоправ бездетный? Ардасенов, кажись?

— Умгу.

— Ну раз Ка-аха сказал... — произнесла Носатая Нино таким чрезмерно-уважительным тоном, что сразу становилось ясно, какого мнения она о бездетном костоправе. — Впрочем, — добавила она тут же, — ключица — не хребет, срастется. Главное, шкуру на повязку надо от молодого барашка — дабы как жена в объятиях сжала. И — покой, покой, покой. А еще толченую скорлупу пускай лопают. Ложками.

— Да, — сказала Дина. — Каха так и советовал.

— Ну и молодец, — сказала Носатая Нино. Она помолчала, потом спросила как бы в сторону: — А мальчик из Клиата что?

Дина оторопело воззрилась на нее:

— Как?! И про него знаешь?

— А что тут знать? — усмехнулась Носатая Нино.

— Просто мы его прячем ото всех... — пробормотала Дина. — Даже соседи не знают...

— Ну, я — не соседи, — отмахнулась Носатая Нино. — Так что мальчик?

— Молчит, — сказала Дина. — Палец постоянно сосет — как теля матку, ей-богу! А попытаешься вытащить — ревет. Что еще? Спит беспокойно. Не ест почти. Людей боится — особенно мужчин, когда они толпой соберутся...

— Про седобу — правда? — жадно спросила Носатая Нино.

— Правда. Вот тут белая прядка. В жизни такого не видала.

— Ну-у... Ты еще много чего не видала.

Дина горько усмехнулась.

— Того, что повидала, вот докуда хватило. — Она постукала себя ребром ладони по горлу.

— Да, да, — кивая, сказала Носатая Нино. — Однако согласись: мальчик повидал поболее тебя. Как, кстати, его имя?

— Аца.

— Аца, — повторила Носатая Нино. — Так вот, привели бы вы Ацу ко мне. Леко я уже ничем не помогу. Брат твой и без меня поправится — раз уж за него сам Каха взялся! А вот мальчик... Он ведь не заговорит, коли не помочь.

— Женщины думают, заговорит, — возразила Дина. — Как забудет ту ночь, так и...

— Ты-то сама забудешь ту ночь? — быстро прервала ее Носатая Нино.

Дина потупилась.

— То-то, — сказала знахарка. — С чего тогда взяла, что он забудет? Нет, не забывать такое надо. Такое надо заменять.

— Чем?

— Это уж отдельный разговор, — мягко отмахнулась Носатая Нино. — Сейчас ты мне вот что пообещай. Как придешь — расскажешь о моем предложении своим. Они сначала, конечно, пальцами у виска крутить станут. Но ты не отступай, объясни все, как я тебе... Или погоди. — Она нахмурилась. — Ты ведь тайком пришла? Тьфу, невезенье! Ничего ты не скажешь. Побоишься расспросов: зачем, мол, к этой ведьме поперлась? Я ж для вас навряд пугалища... Ну да ладно. Придется самой спуститься...

— Прогонят тебя, — тихо сказала Дина.

— Да. Наверняка, — согласилась Носатая Нино. — Но попытаться стоит. Речь все-таки не обо мне.

На этом знахарка неожиданно замолкла и, отвернувшись от Дины, принялась с деланной озабоченностью мешать мамалыгу. Дина поняла, что расспросы кончились. Теперь надо было говорить самой. У нее вдруг сжалось горло.

— Я... — начала она и запнулась.

Носатая Нино как ни в чем не бывало помешивала свое варево. Это было жестоко. Ведьма проклятая, подумала Дина и, чувствуя на лице отвратительную кривую улыбку, процедила:

— Ты ведь знаешь, для чего я пришла.

— Догадываюсь, — отозвалась знахарка.

— Ну а ежели догадываешься, зачем мучаешь?

— О таком, — назидательно сказала Носатая Нино, — нужно просить. Вслух.

— Вслух ей... — буркнула Дина. Глухая злоба охватила ее. — Думаешь, я не понимаю? — закричала она. — Думаешь, я просто испуганная дуручка? Да! Заячья кровь! Но есть вещи пострашнее! А вдруг я его полюблю — об этом подумала? Ты хоть понимаешь, каково мне? Нет, ни черта ты не понимаешь! Сидишь тут, мешаешь свою жрачку, и плевать на всех!.. Ацу она, видите ли, захотела... вылечить решила... речь вернуть...

Видя, с каким беззаботным видом слушает ее знахарка, Дина постепенно скисла — последние слова получились у нее еле слышными.

— Выговорилась? — любезно осведомилась Носатая Нино.

— Знаешь, — сказала Дина уже совершенно спокойно, — меня тобой в детстве пугали.

— Вот как?

— Да. Мама всегда так грозила: «Не будешь слушаться — отведу к Носатой Нино и подарю ей!»

— Жалко, что она не исполнила обещания, — сказала Носатая Нино. — Мне одной тяжко.

— А среди детворы, — добавила Дина, — самым смелым считался тот, кто ближе остальных подойдет к твоей хижине.

— И ты, наверное, оказывалась самой трусливой, — предположила Носатая Нино.

— Не помню, — сказала Дина. — Может быть. — Она помолчала, опустив глаза. — Я ведь и в самом деле боюсь, — призналась она, понизив голос, хотя в комнате, кроме них да собаки, никого не было. — Ежели я его полюблю, это... это...

— Договаривай, — попросила Носатая Нино.

— Это будет предательством, — закончила Дина и уткнула лицо в ладони. — Господи, — прошептала она. — Почему я? Ведь есть хуже, намного хуже...

— Какая неделя? — спросила Носатая Нино.

Дина отняла руки от лица. Знахарка была непривычно серьезна.

— Восьмая... — выговорила Дина беззвучно и, сглотнув, повторила потверже: — Восьмая.

— И никто из твоих... — Носатая Нино не закончила фразу, но Дина поняла и так.

— Нет, что ты! — сказала она с живостью. — Никто не знает!

— И не ЗНАЛ?

Вопрос повис. Дина сжала челюсти с такой силой, что хрустнуло в висках. Потом медленно, не сводя со знахарки глаз, покачала головой.

— Хорошо, — сказала Носатая Нино. — Подойди.

Дина подчинилась. Рядом с очагом было жарко, как в преисподней.

— Покажи ладонь, — потребовала Носатая Нино.

Дина протянула руку ладонью вверх.

— Не эту. Правую, — поправила Носатая Нино.

Дина поменяла руку. Не переставая мешать мамалыгу, знахарка покосилась на протянутую ладонь и деловито сказала:

— В общем, так. Поди в мой огород, выкопай молодую луковицу. Осторожно копай, корней не повреди. Да смотри — выбери такую, чтоб помещалась в кулаке. Это самое главное. Большой палец должен свободно доставать до ногтя среднего. Вот так. Поняла? Ступай.

Дина зачем-то кивнула во второй раз и направилась к выходу. Ничего ей было не понятно. К чему луковица? Ей что, пережарки захотелось? Или, может, для пирогов начинка?.. Ведьма старая, совсем сбрендил тут на горе. Самой лень в земле копаться — меня запрягла. Сейчас принесу, что требует, — она и прогонит: нечего, мол, с таким делом сюда соваться... Хорошо, ежели так...

Она вышла на крыльцо и уже собралась прикрыть дверь, как вдруг из хижины выскользнула собака — проходя, она задела боком Динину ногу. У Дины снова поджались пальцы в чужаках. Оставив дверь неприкрытой, она быстрым шагом двинулась в сторону огорода. Собака увязалась следом — на вздутом животе ее, сквозь редкую шерстку, проступала розоватая, почти человеческая кожа, крохотные соски совсем не выпирали. Тяжеловато придется кутятам, мельком подумала Дина, но сейчас же, опомнившись, одернула себя: к черту, к черту! Луковицу хотите? Будет вам луковица!

Она опустилась на корточки около ближайшей грядки, выбрала пучок трубчатых листочков помельче и позеленее и принялась за дело. Некоторое время она сосредоточенно, не обращая внимания на шнырявшую рядом собаку, ковыряла руками рыхлую суглинистую землю, отгребала крошки, а когда в образовавшейся ямке показалась луковица — маленькая, рыжая, сплюснутая с боков, — взяла ее в правый кулак и проверила, достает ли большой палец до ногтя среднего. Палец доставал. Тогда Дина стала аккуратно копать дальше, освобождая корни. Корни были густые, белесоватые, самые тонкие отростки рвались, если Дина пыталась отделить от них комки земли, но основная часть осталась целехонькой.

Наконец луковица была извлечена. Дина брезгливо повертела ее в пальцах, затем поднялась, шикнула на собаку, чтобы не путалась под ногами, и вернулась в хижину.

— О! — сказала Носатая Нино, когда Дина молча протянула ей луковицу. — Хорошую выбрала. Корни, зелень... Гляди, и землю не стряхнула. Это ты правильно — дома стряхнешь, потом тщательно вымоешь. — Она помолчала. — Сунешь туда...

— Куда? — не поняла Дина, но сразу насторожилась.

— Туда, — Носатая Нино показала. — Сейчас там у тебя тепло, влажно, корни быстро прорастут. Особых неудобств это не доставит. Держи до новолуния. Луковица сгниет, а тот, кого ты так боишься полюбить, будет оплетен корнями. Тогда потянешь за зелень — она, ежели не поняла, должна торчать наружу. Потянешь сильно, но осторожно...

Дина вдруг разревелась.

— Ну, ну, девочка, — утешающе сказала Носатая Нино. — Всякое бывает.

— Ты и вправду ведьма, — выдавила Дина сквозь слезы.

— Я?! — возмутилась Носатая Нино. — Да сдались вы мне с вашими напастьями!

— Нет, — упрямо проговорила Дина. — Ведьма и есть. Не зря тебя все боя-а-атся... — Она завывала в голос.

Некоторое время Носатая Нино смотрела, как Дина, сморщившись, силится загнать слезы обратно, потом сказала:

— Ну и слава богу. Так оно даже лучше. Иди домой, жди срока. Воспитаешь хорошим человеком — будет хорошим человеком. Воспитаешь плохим — будет плохим. И никаких «боюсь полюбить»...

— Дай! — резко сказала Дина.

— А-а-а, — с чрезвычайно довольным видом протянула Носатая Нино. — Стало быть, все-таки «дай»?.. Что ж, бери. Но тогда, сделай милость, не ворчи.

Дина выхватила луковицу и выбежала вон. Перед глазами все расплывалось от слез. Дорожка, по которой она неслась, калитка, в которую протискивалась, кусты шиповника, одинокие деревца, небо — все было скользким, текучим, и все смердело тошной сыростью, как будто кругом простиралась непролазная гнилая топь. Дина, конечно, предчувствовала, что ничего хорошего у Носатой Нино ее не ждет. Но чтобы все оказалось настолько мерзким, стыдным... Дважды она порывалась зашвырнуть проклятую луковицу куда подальше, но в последний момент что-то удерживало ее. Страх полюбить? Возможно. Но не только. Было еще что-то, и вскоре она поняла — что. Отвращение. Мерзче, стыднее луковицы было все-таки дитя. Она представляла его личико, и личико это походило на рожу Заурбека Церебова; как бы защищаясь, она представляла розовенькие младенческие ручки, и ручки сейчас же зарастали черным, жестким, как у отца, волосом, а потом со скрипом сжимались волосатые кулаки, и Дина принималась рыдать громче прежнего. Нет, нет, все будет сделано. Сделано во что бы то ни стало. И ни одна собака не узнает.

Добежавши до березовой рощицы, она мягко, почти беззвучно повалилась в густую траву, зарылась в нее лицом и заревела так, как никогда еще не ревела. Следовало выдавить из себя все слезы без остатка, чтобы дома никто ничего не заподозрил. Особенно мама. У мамы на это дело нюх, она и так о чем-то догадывается, просто в силу врожденной своей застенчивости медлит с расспросами. Ничего, ничего, мамуль, подумала Дина с тихой нежностью. Скоро не о чем тебе будет расспрашивать. Дай мне только выплакаться, раз и навсегда выплакаться, и можешь забыть про свое беспокойство...

И тут на нее набросились. Один, прижимая к земле, резко и больно уперся коленом ей между лопаток, другой обхватил ноги повыше лодыжек, еще кто-то ударил и наступил на правую руку, которой она царапала колено того, кто расселся у нее на спине. Выворачивая шею, Дина попыталась посмотреть, что это за мерзавцы такие, но в ту же секунду на лицо опустилась огромная горячая ладонь, так что и головой стало не пошевелить. Скорее из-за невозможности видеть, чем от испуга, Дина истошно, обдирая нёбо, завопила, и ей сейчас же загнали кляп в рот. Она ошарашенно замычала, забилась и задергалась, насколько это вообще было возможно в ее положении, и тогда тот, кто сидел у нее на спине, отпустил ей такую затрещину, что искры из глаз посыпались, и она сразу обмякла. Мир, мгновение назад — жесткий, душный, наполненный суетливым пыхтеньем, сделался вдруг мягким, тихим и тягучим, похожим на каплю живицы, поглотившую комара. Вот и всё, в каком-то оцепелом безразличии подумала Дина, потом ее перевернули на спину, и она увидела лица нападавших.

Это были Церебовы. Четыре... нет, пятеро мерзавцев, гнусно улыбаясь, нависали над ней. Вид у них был очень довольный, прямо-таки ликующий; особенно ликовал тот, кто вязал ей руки, — не переставая улыбаться, он шептал ей что-то неслышное за гулом в голове и без конца подмигивал, как сводник. А ведь я его знаю, вяло подумала Дина. Это ж... это... Мурат! Да, да. А вон тот, с исцарапанной мордой, — Тото. Ишь,

как таращится... Тут откуда-то издалека до сознания донесся полуудивленный вопрос: «Что это у тебя?» — и Дина сейчас же ощутила луковицу, судорожно сжатую в левом кулаке. Смешно: ей успели заткнуть кляпом рот, огреть по затылку, перевернуть и связать — а луковицу она так и не выпустила.

— Ну-ка, дай, — ласково, будто уговаривая маленькую, потребовал Мурат, но Дина не разжала пальцев. — Давай, давай, — сказал Мурат нетерпеливей, а потом вдруг, как тяткой, корябая Дине ладонь, втиснул пальцы под луковицу и потянул с такой силой, что луковица моментально оказалась у него. — Смотрите-ка, — поднимая ее над плечом, сказал он сообщникам.

— Что это? — хмуро спросил Тото. — Лук?

— Ну, — сказал Мурат.

— На кой он ей?

— Я знаю?

— Дай сюда, — скомандовал вдруг резкий гундосый голос, и в каком-то обессиливающем томлении Дина узнала Авдана Церебова. Этот гад был умен как дьявол, его не то что чужие — свои трепетали, и возможно, именно поэтому Старик прочил его себе в преемники.

Некоторое время Авдан, приблизивши луковицу к лицу, с гадливостью рассматривал ее, потом скосил глаза на Дину и нехорошо усмехнулся уголком безгубого рта. Дине показалось, что он все знает. Станный детский испуг охватил ее. Нет, она не боялась смерти (где-то она ее даже желала), но вот луковица... Это ведь должно было остаться тайной — только она, Дина, да знахарка. А вон оно как получается...

— Делай — три, — коротко и непонятно скомандовал Авдан, и мир перед глазами у Дины тотчас померк.

Она не сразу поняла, что это ей на голову натянули мешок. Сквозь домотканую холстину, смердевшую какой-то кислотой, проникали точки тусклого света, но лучше бы их вовсе не было, а то волей-неволей приходилось выпучивать глаза и лихорадочно гадать, что делается там, с той стороны холстины, почему эти проклятые точки так мерцают, кто и зачем заслоняет собою свет. С ума можно было сойти...

— Воум вуум! — выдавила Дина, тщетно пытаясь выругаться.

Уничтожительно гыгыкая, двое схватили ее повыше локтей и рывком вздернули на ноги. Ноги подгибались, как не свои, а еще неприятно, прямо как в ту ночь, болели ребра и издевательски-медленно пропитывалась кровью повязка на голове. Бараны, подумала Дина с горечью и отвращением. Бабу, и ту без крови сцапать не могут... Тут Авдан снова что-то прогундосил — из-под мешка было не разобрать, — и два весельчака, все еще держащие Дину, потянули ее вперед. Пришлось переставлять ноги.

Куда это меня? — думала Дина, ловя ноздрями жалкие крохи воздуха, проникавшие внутрь мешка. Меня убивать надо, а они тащат, думала она, дергаясь всякий раз, когда точки света перед лицом меркли особенно резко, — ей все казалось, что весельчаки намереваются с размаху стукнуть ее о ствол дерева. Или еще веселее: подвести к краю обрыва и отпустить — иди, мол, свободна... Нет, трусиха, тут, кажись, другое. Для чего-то ты понадобилась живой. Вон как подготовились: кляп, веревка; ты и пикнуть не успела... Делай — три... Значит, кляп — это было «раз», а веревка на руки — «два»... Эх, Тмайновы, Тмайновы, с укором сказала она мужчинам, дежурящим у завала. Вы, конечно, молодцы и все такое, но что ж вы так, а? Получается, Церебовы захотят — придут к нам с севера, вдосталь постреляют и преспокойно уберутся восвояси? Нет, нет, не может дядя Болат быть настолько недалёковидным. Наверняка кругом наши сторожевые... Хотя мне-то что с этого? Мне и увидеть их не дано, не то что на помощь кликнуть. Дура. Сходила, называется, до знахарки. Избавила родню от позора... А ведь никто не знает, куда я поперлась. И догадуются, наверное, не скоро. Ежели вообще догадуются...

Тут весельчаки остановились, и Дина услышала лошадиное фырканье. Ага, подумала она. Сейчас меня через седло — и в чуждадельную сторонку. Прямо как невесту бедняка.

Так и случилось. Сначала правый весельчак отпустил ее и, судя по звукам, вскочил на одну лошадь и подвел другую. Его товарищ тем временем возился с Дининым поясом, кажется, привязывал к нему конец какой-то веревки. Потом, ставши позади Дины, он взял ее обеими руками за талию и с хаканьем подбросил. Дина шумно и крайне неудобно плюхнулась животом и грудью на седло, начала было сползать, но ее тут же в четыре руки потянули обратно, поправили, затем накрепко, как какой-нибудь тюк, приторочили к задней луке.

— Руки тоже, — сказал тот, кто был верхом.

— Не учи ворону каркать, — отозвался его поделщик и, обойдя лошадь, стал привязывать Динины руки к подпружной пряжке. Когда дело было сделано, он задумчиво проговорил: — Не задохнется — в мешке да с кляпом?

— Вряд ли, — сказал верховой.

— Может, хотя бы мешок снять?

— Обойдется.

— Ну, раз так — гони. А ежели что...

— Знаю — не дурак.

— Эт как посмотреть.

— У-у, х-холера! — благодушно ругнулся верховой и тронул лошадь. Лошадь, которая везла Дину, очевидно, потянутая за поводья, двинулась следом.

Сначала ехали тихим шагом под уклон. Потом, когда дорога постепенно выравнилась, побежали рысцей. К этому моменту повязка на голове пропиталась кровью настолько, что с нее начало капать. Мешок, делаясь все тяжелее, понемногу сползал, с него, наверное, тоже капало, но верховой, видимо, ничего не замечал — понукал лошадей и то и дело шумно харкался в сторону.

Через какое-то время Дина поймала себя на том, что теряет сознание. Умираю, подумала она, но не испугалась, ибо это было лишь чуточку неудобно, а в общем и целом — очень даже ничего, приятно. Как будто засыпаешь, до смерти усталая, после долгого рабочего дня.

Еще через какое-то время до нее дошло, что сознание хоть и теряется, а потеряться окончательно почему-то не может: что-то мешает. Дина попыталась призадуматься, что это за помеха такая, но ничего не вышло — оказывается, думать в таком состоянии было лень и вообще незачем. Все равно ничего не изменить. А ежели даже и можно, то — не мной... Дядя Болат... сторожевые...

Она бесконечно долго тщила представить себе этих мифических сторожевых. Почему-то казалось, что если вообразить их во всех подробностях — от черных каракулевых папах до бордовых чувяк из сыромятной кожи, — они обязательно появятся, живые, злые и родные, выскочат из-за ближайшего холма (который тоже необходимо вообразить), в два счета нагонят и освободят... А разделаться с Церебовым позволят Дине. Ой как я с ним разделаюсь! Никто ни с кем так не разделялся, как разделаюсь с ним я...

И все-таки она потеряла сознание. В какой-то момент этого затянувшегося бреда появилось странное, волнующее, не совсем приятное ощущение: как будто откуда-то снизу, от земли, на макушку льется неслышный, ласково-теплый водопад, и сила, напор его все увеличивается, плотнеет, становится колким, так что голова запрокидывается до предела, а тело начинает сносить куда-то вверх и вправо... Это длилось считанные секунды, потом напор сделался до того мощен, что лопнули связывающие Дину веревки, ее, как пушинку, оторвало от седла и сейчас же ударило спиной и затылком о гулкий мрак, в котором не стало ничего — ни чувств, ни мыслей, ни желаний.

5

Очнулась она уже в постели. Под плотным одеялом, тщательно подоткнутым с трех сторон, было нестерпимо жарко. Распухший язык не умещался во рту, глаза слезились, и болюче, до звона под черепашкой, сдавливала голову свежая повязка. То, что повязка свежая, было ясно по запаху — так могла пахнуть только чистая, недавно стиранная материя. Одного не пойму — зачем так затягивать? Руки ваши крюки... Дина рассеянно потянулась к повязке, намереваясь ослабить ее хоть немножко, и тут с удивлением обнаружила, что руки у нее привязаны к кровати, каждая — отдельной веревкой. Дотянуться можно было только до груди — потом веревки натягивались, и неощутимые доселе петли на запястьях причиняли боль.

— Это для твоего же блага, деточка, — раздался откуда-то справа размеренный, не лишенный приятности мужской голос.

Вздрыгнув, Дина повернула голову и лихорадочно заморгала, сиюсь разглядеть говорившего сквозь едкие слезы.

— Ты бредила, — продолжал Старик все так же размеренно. — Жаловалась, что чешется, пыталась сорвать повязку. Я боялся, ты навредишь себе, и решил не рисковать.

Дина наконец разглядела Старика. Сухой, белобородый, с необычайно прямой осанкой, он восседал поодаль у окна на роскошном стуле, высокая резная спинка которого выглядывала из-за худощавых плеч, похожая на гигантские рога какого-то невиданного оленя. Синий шелковый бешмет, обшитый галуном, как всегда, сидел на Старике идеально; белые ухоженные руки покоились на мягких подлокотниках; стройные, на зависть любой девушке, икры обтягивали черные сафьяновые ноговицы, украшенные поверху ярко-красным орнаментом.

— Вы... — хрипло проговорила Дина и замолкла. Она вдруг поняла, что ей нечего сказать. И так все ясно.

— Да, я, — сердечно улыбаясь, отозвался Старик. — Вот — решил поселить тебя у себя. Это, кстати, любимая моя комната, ты в ней еще не бывала. Окно — с кровати не видно — глядит на юг. Красотища! Особенно в солнечную погоду...

Говоря это, Старик, не моргая, смотрел на Дину. Взгляд у него был ясный, умно-неподвижный, от этого взгляда было как-то неудобно отрываться. Но Дина все же оторвалась на секундочку — глянула, якобы мимоходом, в окно. Вроде далеко за полдень. Вопрос — насколько далеко и какой он по счету, этот «за полдень»?..

— Вижу, ты еще очень слаба, — говорил между тем Старик. — Но у меня к тебе разговор, серьезный взрослый разговор. Откладывать его я больше не могу, уж прости. Но сначала давай тебя развяжем... Авдан, — позвал он негромко.

Слева, где, оказывается, был дверной проем, возник Авдан Церебов — стремительно и совершенно бесшумно приблизился, откинул одеяло и в два счета обрезал веревки страховидным, особенно в его руке, кинжалом.

— Вот, — сказал Старик Дине. — Теперь, ежели хочешь, можешь сесть. Нет? Ну тогда лежи, лежи... Авдан, дружок, сделай доброе дело: поди встань в дверях, а то наша Диночка отвлекается.

— Не нравлюсь я ей, — прогундосил Авдан с шутливой обидой в голосе. — И никогда не нравился.

— Женское сердце, — сказал Старик наставительно. — Тут есть повод призадуматься.

— Поразмышлю на досуге, — безразлично отозвался Авдан и попятился к дверям.

Скосив глаза, Дина оцепенело смотрела, как он облокотился плечом о косяк и, извлеки из кармана бешмета большое желтое яблоко, принялся срезать с него кожуру и ронять ее на пол. Луковица, гудело в голове. Куда он ее девал? Почему тогда усмехнулся?..

— Первый вопрос, — произнес Старик, но видя, что Дина, как замороженная, плянется на Авдана, возвысил голос: — Гляди на меня, деточка! На него внимания не обращай, он — так, для виду. Повторяю: разговор серьезный, соберись.

Дина быстро повернула голову, вперилась в Старика и, стараясь вложить в слова как можно больше презрения, которого на самом деле, увы, не чувствовала, выпалила:

— Ничего я говорить не буду, вот еще!.. И не называй меня «деточкой», никакая я тебе не деточка!

Далее она намеревалась плюнуть в Старика, и будь что будет, но тут Авдан весело, будто стал свидетелем какой-то детской блажи, хмыкнул, а Старик проговорил слегка озадаченно:

— Вот как? Что ж... — Он пожевал серыми, как у мерина, губами. — Не хочешь быть деточкой — не будешь. Но говорить все равно придется! Твои родичи убили моих родичей, и я хочу знать, — голос его посуровел, — кто в этом повинен.

— Кто, кто — вы! — рявкнула Дина.

— Так, — сказал Старик очень заинтересованно. — Мы. В чем же, по-твоему, мы виноваты?

— Заурбек... — произносить это имя было противно. — Это все он, его вина, его одного!

— Так, — повторил Старик. — Очень хорошо. Заурбек. Стало быть, это он тебя порезал?

— Он.

— В тот момент вы были одни?

— Что?

— В сакле, помимо вас, кто-нибудь был? Где находились твои отец и брат?

— Дома — где!

— Дома — это в Тибе?

— Да. Сколько я была без сознания?

— Об этом — позже. Сначала расскажи, что произошло между тобой и мужем.

Почему он это сделал?

— Потому что был подонком.

— Так. Дальше.

— Он... он...

Старик понимающе вздохнул.

— Знаю, — проговорил он, — Заурбек был далеко не наилучший супруг. Пьющие люди сами по себе неприятны, — что тогда говорить о пьющем муже!.. Даже больше скажу: я знаю, что он не раз и не два подымал на тебя руку. Видит бог, я пытался вправить ему мозги. Я грозил, вразумлял, уговаривал даже — и каждый раз мне казалось, что мои слова, наконец, дошли до него. Но он был просто хорошим лицедеем. Ему нравилось облапошивать людей, так он самоутверждался. Видно, правильно говорят: в семье не без урода. — Он помедлил, затем спросил с подкупающим сочувствием: — Так что все-таки произошло в ту ночь?

Что-то, а говорить про ту ночь Дине не хотелось. Но уж слишком подкупающим был голос Старика. И, преодолевая себя, Дина выдавила:

— Он... мы...

— Вы поссорились? — помог Старик.

— Да. Он... избил меня и... порезал. Я побежала за помощью...

— И он так просто тебя отпустил? — не скрывая сомнения, быстро перебил Старик.

Дина угрюмо шевельнула плечом. Честно говоря, она и сама не до конца понимала, зачем Заурбек ее тогда отпустил. Неужто и впрямь последние мозги пропил? Или до того уверенно чувствовал себя: Церебов, мол, — не хвост собачий...

— Ну, хорошо, — сказал Старик после недолгой паузы. — А сын Тото? Абе что?

— Это потом случилось, — пробормотала Дина, отводя глаза. — Без меня. Отец не хотел...

— Ага, — сказал Старик. — Стало быть, это Леко рук дело?

— Он не хотел, — повторила Дина настойчиво.

— Ну прям божий одуванчик, — подал голос Авдан.

— Тсс! — сказал ему Старик, потом ласково — Дине: — Продолжай, пожалуйста.

Но Дина уже поняла, что сболтнула нечто такое, чего сбалтывать никак не следовало, и прикусила язык... Хотя что они могут ему сделать? Он — вон где! Это мне уже не жить, а до папы — пусть только попробуют дотянуться. Руки короткие.

— Ну, чего молчишь? — ласково осведомился Старик. — Не хотел, говоришь? — сказал он, так и не дождавшись ответа. — Что ж, охотно верю. Может быть, и не хотел. Может, мальчишка просто под горячую руку подвернулся: бывает... Мои вон — тоже не сахар. Слыхала, небось, что в Клиате приключилось?

— Слыхала. Весь Мамисон об этом гудит.

— Вот, — сказал Старик. — Это я не уследил, моя вина. И я, в отличие от твоего отца, вину эту признаю. Слава богу, хотя бы мальчик убёг. Он ведь у вас, да?

Вопрос был задан как бы между прочим. Но Дина была настороже; ох и хитре-ец, подумала она, а вслух сказала:

— Ничего ты больше не узнаешь, только время тратишь.

Старик выгнул белую бровь:

— Вот как?

— Для взрослого разговора нужно было взрослого мужика красть, — издевательски, с удовольствием прислушиваясь к себе, сказала Дина. Раззадоренная собственной наглостью, она вздумала добавить еще что-то, но тут Авдан снова весело хмыкнул, чем сразу сбил ее с панталыку. — Не хмыкай, ты! — прикрикнула она, однако это уже не прозвучало.

Наступило молчание. Старик безотрывно и задумчиво глядел на Дину и даже не думал, сволочь, моргать. Дина, насупившись, отвечала на его взгляд и моргала без остановки, ничего не могла с собой сделать. Потом Авдан прогундосил с деланным одобрением:

— А девочка ничего, боевитая.

— Хорошая девочка, — согласился Старик со вздохом. — Жаль только, плохому мужу досталась.

Он неожиданно легко для своих лет поднялся и, выставив белую бороду, неспешно двинулся к двери — высокий, худощавый, невыносимо осанистый.

Что, всё? — потерянно подумала Дина и сама же ответила: да, всё. Еще секунда ушла у нее на то, чтобы до конца осознать, что подразумевается под этим словом, — «всё». И как только она это осознала, ледяной пот прошиб ее, и, млея, как в кошмаре, она вытаращилась на Старика, еле удержавшись от малодушно-отчаянного окрика: «Подождите!..»

Она пережила самое долгое мгновение в своей жизни. Но устояла. Сохранила лицо. Обтянутая в синий шелк спина неторопливо удалялась. Сейчас, думала Дина уже совершенно спокойно. Сейчас он отдаст команду... нет, просто кивнет — и этот живодер меня прикончит. Прямо в постели и прикончит. В любимой его комнате, с окном, глядящим на юг... Только б не закричать...

А Старик с издевательской, душу выматывающей медлительностью дошагал, наконец, до двери, остановился, ожидая, пока Авдан посторонится, уступая дорогу, сделал еще шаг, снова замер, постоял так немного, повернув голову к своему преемнику и озабоченно наблюдая, как тот уплетает избавленное от кожуры яблоко, вздохнул и только после этого соизволил обернуться. Ну! — торопила Дина, во все глаза глядя на него. Ну!

— Что ж... — произнес Старик. Авдан перестал хрумкать, а Дина — дышать. — Раз

такое дело... — снова пауза, которую нестерпимо хочется заполнить пронзительным визгом, — поручаю нашу гостью тебе, Авдан.

Дина не удержалась — вздрогнула, и оба Церебова это заметили. Старик впервые за все время разговора моргнул совсем по-человечески, а Авдан растянул безгубую свою пасть в знакомой нехорошей улыбочке. Всё, обреченно подумала Дина, краешком сознания отмечая, что у нее отнимаются ноги. Секунда — и она перестала ощущать свое тело вовсе: не было больше ни ног, ни рук, ни туловища, повязка не сдавливала голову, да и сама голова куда-то пропала, ослабли все запахи, затихли все звуки... И лишь зрение, необычайно обострившееся, продолжало исправно служить ей. Дина смотрела и смотрела на Церебовых, не в силах прекратить, болезненно-необоримое желание увидеть, запечатлеть все до конца заполнило все то, что когда-то называлось здравым рассудком. Она состояла из этого желания. Она была этим желанием. И ничего другого в мире больше не существовало. Увидеть. Запечатлеть. Сбереечь в памяти... Ну же!

Старик отвернулся, шагнул за порог и сгинул. Остался лишь Авдан — жуткий прищур, нехорошая улыбка довольного жизнью живодера. И кинжал. Дина смотрела. Авдан медлил. Он явно сознавал свою власть и наслаждался ею, смакуя каждое мгновение. «Ну же», — едва не выдав себя звуком, взмолилась Дина, и Авдан, помедлив еще чуточку, сделал, наконец, то, что требовал от него Старик, — они ведь наверняка обо всем договорились!

— Заре-ема, — ласково протянул он, не отводя взгляда от Дины.

Дина ничего не понимала.

— Заре-е-ема, — повторил Авдан громче и протяжней.

В глубине сакли слышались торопливые шажки, и вскоре на пороге кто-то появился. Дина не видела, кто именно, — может быть, Зарема, а может, и не Зарема вовсе. Да и неважно это! Кинжал. Он все еще был у Авдана в руке. И в любой момент этот живодер мог пустить его в ход. Что же он тянет? Зарему какую-то позвал. К чему Зарема в таком-то деле?.. И словно вдогонку этим мыслям взгляд сам собой перевелся с Авдана на вошедшую Зарему, и Дина вдруг с запоздалой и несколько потерянной радостью осознала, что сегодня она не умрет.

Она еще не до конца поняла, почему так думает, а Зарема уже двинулась вперед, к ней навстречу, заслонила собою Авдана и, приблизившись, опустила на край кровати какой-то поднос. Дина недоверчиво покосилась — на подносе стояла миска горячей лывжи, пара кукурузных чуреков и ложка. Чего это они? — мелькнуло в голове. Покормить вздумали? Зачем? Меня ж того — убивать надо. Она подняла непонимающий взгляд на Зарему, но та уже отвернулась и стремительным шагом направилась к двери. Дина оторопело глядела ей в спину, пока Зарема не вышла из комнаты. Все произошло так быстро, что Дина даже не запомнила лица этой женщины — лишь бордовое платье да неправдоподобно черную, явно крашенную басмой косу, болтавшуюся меж лопаток.

— Ну, что вылупилась? — весело осведомился Авдан. — Лопай!

Он бросил недоеденное яблоко на пол, в кучу перекрученной кожиры, и тоже вышел, очень собой довольный.

Дина все не понимала. Точнее — понимала, но как-то однобоко: она никак не могла уразуметь причины случившегося. Да, у нее вывели все, чего хотели. Да, обошлись без пыток. Но, выведав все, почему-то не убили, наоборот — решили покормить. Причем решили явно до того, как все вывели. Зачем?.. В животе заурчало. Страдальчески выгнув брови, Дина опять покосилась на поднос. Над миской с лывжой клубился густой ароматный парок. Может, отравлена? — предположила Дина в тайной надежде отогнать таким образом голод. Голод, однако, не отгонялся. Зараза, вот тебе и «без пыток»! А это тогда что — мамкины щекотки? Сколько же я провалялась, раз так слюнки текут?

Она уже знала, что не пересилит свое естество, поэтому не стала дальше кочевряжиться. Рывком села, схватила миску обеими руками и, обжигаясь, принялась хлебать мутную лывжу громкими суматошными глотками. Слава богу, никто этого срама не видел. Через какое-то время, заполненное сладострастным мычанием и протяжными всасывающими звуками, супа в миске не осталось. На донышке, увязнув в белесоватом осадке, сиротливо лежал разваренный кусок баранины — не очень-то большой, но и не маленький. Интересно, подумала Дина, утирая рукавом запотевшие лоб и щеки. Раньше эти богачи не особо меня баловали. Что же, черт возьми, поменялось? Гадая об этом, она взяла мясо пальцами и сунула в рот — баранина прямо таяла на языке, и Дина, прищурившись, наслаждалась этим, точно старуха, потерявшая в запрошлом году последние зубы.

И все-таки, в то же время думала она. Что они замыслили? Шантаж? Обмен? Но у нас нет никого из Церебовых. Или есть? Да нет, нету, я бы знала... А может, решили держать меня на черный день — на тот случай, ежели мои и в самом деле пленником обзаведутся? Правда, такого тупого пленника, как ты, курица, днем с огнем не сыщешь. Среди Церебовых — уж точно. Зря, что ли, они богаче всякого в Мамисоне? Не от глупости же, правда?.. Хотя, ежели судить по Заурбеку... Тут Дина невольно заулыбалась. Ежели судить по Заурбеку, Церебовым конец. Им и так конец, но ежели судить по ненаглядному моему муженьку, конец их не за горами.

Не в силах убраться с губ неуместной улыбочки, Дина выпростала ноги из-под скомканного одеяла и опустила их на пол. Ни носков, ни чуваков возле кровати не наблюдалось, ногам сразу стало зябко. Ничего, подумала Дина. И без чуваков люди живут... Она потянулась к чуреку на подносе, отломил кусочек и не глядя помакала и повозила им в белесоватом осадке на дне миски. Затем так же не глядя сунула чурек в рот. Он оказался даже вкуснее разваренной баранины. Ну до чего же мастачка эта Зарема стряпать! Кто она такая, интересно? Лица, жалко, не разглядела. На свадьбе, помню, сидела недалеко справа какая-то Зарема — все хохотала, как умалишенная, а когда начались танцы, напрочь отказалась выходить с кем бы то ни было — стеснялась, что ли? Ежели это та самая Зарема, то черт знает, кому и кем она доводится. Да и какая разница! Церебова — она Церебова и есть, и судьба у них одна на всех.

И все-таки непонятно. Почему я до сих пор дышу? Ежели и вправду обмен, то меня можно держать и в погребе — так и шума поменьше, и вообще. А то ведь могу и удрать ненароком. Или еще лучше: выкрадут меня свои, окно вон какое широкое... Приманка? А что, может, и приманка. Разнесут весть, что Дина, мол, у Старика томится — Тмайновы поспешат на выручку и, конечно же, угодят в засаду. Всех мужчин перебьют — останется женщин и детей по аулам выловить... Проклятье, и надо было мне попасться! Сидела бы дома, ждала срока. И плевать, что бы там ни судачили. Подумаешь — ублюдок. Кому — ублюдок, а кому — обыкновенный ребеночек из плоти и крови. Церебовы, небось, души за него отдали, если бы только...

И тут она все поняла. И ужаснувшись, вздрогнула, как от резкого толчка.

— Господи... — выдохнула она, поднимаясь на ноги. Глиняная миска соскользнула с колена и разбилась об пол. — Нет, нет, этого не может быть... — Обжигающая, точно кипяток, волна ошпарила лицо, очертания комнаты размылись и затемнились, стало душно, тошно, тесно. — Только не это, не это, не это... — придушенно залепетала Дина, ни в какую не желая поверить в то, до чего сама же и додумалась. В последнем здравом усилии она попыталась переубедить себя или хотя бы придумать что-нибудь менее ужасное, но за стеной уже слышалась приближающаяся топотня, и тогда Дина схватила с пола первый попавшийся черепок и, плачуще вскрикивая на каждом взмахе, принялась раз за разом колоть себя в живот.

Посмотреть у знахарки Болат Тмайнов додумался лишь спустя час бесплодных поисков. За этот час отряд наткнулся на еще одну сторожевую заставу, застигнутую

врасплох. Видно было, что перед тем как убить сторожевых, Церебовы их пытали, впрочем, не особо увлекаясь: у тридцатилетнего Тугана были вырваны три ногтя на правой руке, а у его младшего братца, балбеса Бибо, и того не наблюдалось — разбитая губа да неглубокий порез под глазом. Очевидно, его заставили смотреть на пытку, пока он не обдристался и не ответил на все вопросы.

Болат уже догадывался, что и Дина каким-то образом угодила в этот гибельный коловорот и, скорее всего, ее уже нет в живых, — он догадывался об этом и вроде даже смирился... То есть не смирился, конечно, а как бы мимолетно, тут же себя обрывая, допускал, что, возможно, случилось худшее и вся эта беготня вокруг аула так же бессмысленна, как махание кулаками после драки. Позволяя себе подобные мысли, он, как ни странно, заранее подготавливался. И поэтому, когда отряд добрался, наконец, до цели, он, Болат, оказался чуть ли не единственным, кто не оторопел, увидев, что творится во дворе у знахарки.

Во дворе у знахарки царил разгром. Калитка была сорвана с петель и закинута зачем-то на крышу. Часть огорода перетоптана, другая — искромсана шашками. В тени под грушевым деревом лежала, поджавши ноги, черная овца — на вид вроде как спящая, но какое животное станет дремать в луже собственной крови? Чуть дальше, у сарая, виднелось растрепанное тельце кочета, задравшего к небу скрюченные лапки. Судя по замысловатому черному следу на траве, его поймали где-то у крыльца, прижав к земле, обезглавили, затем пустили побегать, пока не надоест. Дверь хижины была распахнута, из черного проема, словно из пасти издыхающего уаига¹, доносился заунывный скулеж, с первых же секунд начавший портить кровь.

— Какого черта? — беспокойно пробормотал Аким, остановивший свою лошадь рядом с лошадьёю Болат. — Кто-нибудь что-нибудь понимает? — суетливо завертев кубовидной башкой, обратился он ко всем.

Никто ему не ответил.

— Ты что-нибудь понимаешь? — спросил он тогда напрямую у Болат.

Болат, как и все, ничего не понимал. Он только чувствовал, что все вокруг так или иначе связано с тем коловоротом, в который угодила его племянница. Но втолковывать это разволновавшемуся Акиму не было ни времени, ни желания.

— Спешиваемся, — сказал он кратко и первым спрыгнул на землю.

Далее никаких распоряжений отдавать не пришлось. Стрелки, слаженно рассредоточившись, заняли позиции у плетня. Остальные, обнажая на ходу шашки, один за другим вошли во двор и со всею осторожностью двинулись к хижине. Скулеж из дверного проема тут же усилился, и Болат с досадой почувствовал, что у него вспотели ладони. Не останавливаясь, он переложил шашку из правой руки в левую и освободившейся ладонью быстро провел по бедру, стирая предательскую влагу. Затем снова переложил шашку. Стало не в пример спокойнее. Он покосился на Акима, шедшего рядом. Странное дело, этот легковозбудимый, обидчивый здоровяк взял себя в руки, хотя, видит бог, не должен был этого делать до тех пор, пока не убедится, что никакой опасности нет. Вот он-то и войдет, неожиданно для себя решил Болат. А что? Ежели ничего страшного, то ничего страшного. А ежели все же засада, наш Акимка такого там натворит с перепугу — эти суки из окон посыплются...

— Пс-с! — шепнул он Акиму и, когда тот повернул к нему поглупевшее от напряжения лицо, указал на дверной проем.

Аким коротко кивнул и, обгоняя остальных, выдвинулся вперед.

— И ты, — одними губами велел Болат Хазби.

Хазби, второй силач в отряде, тоже кивнул и в два огромных шага нагнал Акима. На крыльцо они поднялись вместе. Перед тем как войти, остановились на мгновение и переглянулись, как бы на всякий случай проверяя друг друга на вшивость. Потом, вставши боком, одновременно протиснулись в дверной проем.

¹ В Нартовском эпосе — злой циклоп.

Как только темнота поглотила их, скулеж перешел в надрывные прерывистые подвывания пополам с хрипом. Стало совершенно непонятно, кто издает эти звуки — животное или человек... Болат поймал недоуменный взгляд Казбека и уже собрался было указать ему на проем: следуй, мол, за мной, — но тут в глубине хижины, заглушая подвывания, раздался громоподобный рев:

— К разэтакой вас матери, шакальи охвостья, кто ж так поступает, а?!

Кричал Аким... Позабыв об осторожности, все кинулись ему на выручку и сейчас же замерли.

Аким сам выскочил наружу.

Квадратная морда его шла серыми пятнами, выпученные глаза метались, ни на чем не останавливаясь. «Кто ж так...» — проговорил он с неожиданной растерянностью в голосе, после чего согнулся в пояснице, и его вырвало.

Скрипнув зубами, Болат оттолкнул этого впечатлительного болвана и вбежал в хижину. На пороге горницы пришлось оттолкнуть и Хазби — тот стоял истуканом, загораживая проход широченной спиной. Да что это с ними? Первый год замужем, что ли?.. И сделавши единственный нетерпеливый шаг, Болат застыл, сам обратившись в истукана.

В горнице, как над помойной ямой, роились мухи. Разглядеть что-либо сквозь это жужжащее мельтешение было непросто, но Болат разглядел. У очага, распростершись на полу, лежала Носатая Нино. Ей вспороли живот и извлекли кишки, а в освободившееся место накидали суглинка. Этого, видимо, оказалось недостаточно, и убийцы посадили там, в животе у несчастной, луковицу — зеленые жизнелюбивые листочки торчали из земли, указывая остриями в потолок.

— Она-то им чем насолила? — спросил Хазби в пустоту, и тут справа послышалось то самое прерывистое подвывание.

Болат повернул голову — под лавкой, забившись в самую темень, кто-то шевелился. Убедившись, что это всего лишь издыхающая собака, Болат развернулся и на негнувшихся ногах побрел к выходу. Он надеялся, что на свежем воздухе ему полегчает.

После случая с черепком жизнь Дины превратилась в кошмар. Церебовы, наверное, опасались, что она не успокоится, пока не убьет вынашиваемого ребенка, поэтому в тот же день приняли меры. Из комнаты была вынесена вся мебель, затем стены завесили роскошными коврами в два, а местами в три слоя. Похожая участь постигла и пол — он полностью исчез под пестрыми, необыкновенно мягкими пуховиками, так что передвигаться по комнате стало крайне затруднительно.

Впрочем, к передвижениям, а равно и к повторным попыткам навредить ребенку Дина сразу охладела. Что-то с ней произошло, когда ее, вопящую от дикой боли, сбили с ног и вырвали из сведенных пальцев окровавленный черепок. Словно вместе с этим черепком вырвали из нее какой-то стержень. Она стала квелой, неповоротливой, безучастной ко всему, что делалось вокруг.

Две недели заживали безобразные раны на животе, и все это время Дина видела неподдельную тревогу в глазах каждого Церебова, приходившего посмотреть на нее. Она понимала: они боятся за ребенка, боятся потерять то последнее, что осталось от их дорогого Заурбека. Но понимание это нисколько ее не трогало. Ни одной презрительной мысли не появилось у нее на этот счет, ни одного едкого замечания не сорвалось с губ. Она только все больше и больше убеждалась, что до того, как у нее отобрали черепок, в ней действительно был какой-то стержень, которого больше нет и, главное, никогда уже не будет.

Вскользь горюя об этом, она днями напролет лежала под окном, свернувшись калачиком в уютном кубле, которое она соорудила из козьей бурки, двух одеял и многочисленных мутак, накиданных в комнату вместо подушек, лежала, уставившись

в одну точку на потолке или на стене, а если вдруг занадобится, с отсутствующим видом поднималась на четвереньки и, застревая руками и коленями в щелях между пуховиками, перемещалась к двери, где рядом со стулом надсмотрщика стоял ночной горшок. Справлять нужду на глазах у мужчины оказалось на удивление просто — всякий стыд пропал на третий, кажется, раз. Да и надсмотрщики, сменявшие друг друга каждые четыре часа, не обращали на нее никакого внимания.

По ночам, прежде чем запереть одну в комнате, ее связывали. Сначала было, конечно, не заснуть, но через какое-то время веревки стали чем-то само собой разумеющимся: Дина просто перестала их замечать и, наверное, вряд ли уснула бы, если б в одну ночь Церебовым вдруг вздумалось ее не связывать.

Кормили часто и сытно. Но — с ложки и под присмотром. Как правило, кормила Зарема, а когда Зарема почему-либо не оказывалось на месте, ее подменяла другая корова, не менее молчаливая. Если Дина вдруг отказывалась раскрывать рот навстречу очередной ложке, на помощь тут же призывался надсмотрщик — на пару с молчаливой коровой ему ничего не стоило заставить Дину доест все до конца.

Иногда — редко — ее выводили на прогулку. Случалось это поздними вечерами, когда темнота уже опускалась на землю, а все жители аула сидели по саклям, греясь у жарких очагов и обсуждая какую-нибудь житейскую дребедень навроде прохуdivшейся крыши сарая. Вдыхая свежий морозный воздух, Дина невольно оживала, но сейчас же с внутренним содроганием вспоминала о стержне, который из нее вынули, и все возвращалось на круги своя: квелость и безучастность ко всему наваливались на плечи податливой пустотой — и вот Дине уже нестерпимо хотелось обратно, в свой мягкий тихий каземат, где знакомо пахнет влажной затхлостью и можно в любой момент забраться в уютное кубло, отвернуться от мира к стене и в очередной раз вскользя погоревать о стержне, которого больше нет и, главное, никогда уже не будет.

Старик в комнате больше не показывался. Но Дина многожды слышала его размеренный, не лишенный приятности голос: то он отчитывал во дворе шумливую ребятню, то поучал на кухне женщин, почтительно-смирных при нем и донельзя склочных в его отсутствие... а то просто проходил мимо по коридору, и через запертую дверь было слышно, как скрипят под ним рассохшиеся половицы.

Дина быстро уловила закономерность: если Старик проходил мимо ее двери больше трех раз на дню, значит, скоро будет очередная сходка. И действительно: чем дальше, тем чаще созывал Старик родню и держал военный совет. Проводились эти советы в комнате, расположенной прямо над Диной, так что до Дины даже долетали отдельные, особо громкие высказывания. Обсуждались по большей части Тмайновы: что-то там они постоянно вытворяли, отчего у бедных Церебовых усиливался в одном месте зуд, и единственная возможность избавиться от него состояла в том, чтобы как следует наораться и натопаться на этих сборищах. Убеждая себя, что все именно так и обстоит, Дина обеспечивала себе крепчайший сон, после которого на душе становилось покойно, легко и пусто. Прямо как в голове.

И все это время внутри у нее росла новая жизнь.

Как бы со стороны Дина отмечала, что груди у нее распухают, бедра оплывают, потребность в еде делается до одури навязчивой, а желание посидеть на горшке — все более стихийным. И конечно, живот — он все больше и больше выдавался вперед и отвисал, точно бурдюк, наполняемый кумысом.

Но это, как оказалось, были цветочки, ягодки пошли чуть позже. Началось с того, что в одно тихое прохладное утро ее вырвало — просто так, без всякой на то причины. После гадское ощущение тошноты ни на секунду не отпускало. Какое-то время Дина пыталась преодолеть его или хотя бы переболеть им, но быстро поняла тщетность всех усилий и, смирившись, как-то незаметно для самой себя свыклась с тошнотой точно так же, как ранее свыклась с веревками по ночам.

Затишье, однако, было недолгим. Не успела Дина опомниться, как появилась

новая напасть — боль в пояснице. С безмятежным ничегонеделанием можно было распрощаться. Боль не позволяла ни лежать, ни сидеть, ни ходить. Спасал от нее только сон. И Дина раз за разом ныряла в него, как в воду, и изо всех сил напрягая воображение, до последнего держалась в белесоватой глубине, среди тихоголосых неповоротливых призраков, пока сон не выталкивал ее обратно в мир, точно пузыrinkу, исторгнутую подводным чудищем.

Дважды она грохалась в обморок — один раз дождливым полднем, сразу после сытного обеда, и еще раз — неделей позднее, на прогулке. Очнувшись после второго раза у себя в каземате, Дина вдруг обнаружила, что ее переодели в просторный алый халат, а Зарема, присев рядом, аккуратно обрезает ей ногти на руке тонким изогнутым ножичком. Ногти, оказывается, росли теперь вдвое быстрее, и Церебовы, наверное, решили, что Дине может взбрести в голову воспользоваться ими как когтями.

Примерно в это же время еда стала какой-то не такой. То ли померла у Церебовых прежняя стряпуха и они позвали какую-то неумеху со стороны, то ли что-то случилось с самой Диной. Мясо теперь было не мясо, творог — не творог, хлеб — не хлеб. И постоянно хотелось чего-нибудь соленого. Впрочем, те, кто отвечал за Динину кормежку, видно, были женщины рожавшие и прекрасно понимали, чего Дине хочется, а чего — пока нет. Поэтому соленого — а чуть позже и сладкого — всегда было вдоволь.

На двадцатой, кажется, неделе ребенок впервые пошевелился — толкнулся разок крошечной ножкой и затих. Это было странное и неожиданно приятное ощущение. На некоторое время оно затмило собой всё, все неудобства: исчезла тошнота, утихла боль в пояснице, забылся навязчивый голод — и Дина вдруг с изумлением осознала, что, оцепенев в страшном волнении, ждет и никак не дождетс я повторения: ей страстно хотелось, чтобы ребенок толкнулся еще разочек.

Но толкнулся он только через пару дней. Истомленная ожиданием, Дина была так несказанно и необъяснимо счастлива, что не смогла этого скрыть. Наверное, поэтому надсмотрщик, хмуро пивший на нее с самого рассвета, позвал вдруг Зарему и, когда та явилась, шепнул ей что-то на ухо. Молча кивнув в ответ, Зарема удалилась; а ближе к полудню в комнату вошла какая-то разжиревшая улыбчивая бабища с неприятным черным пушком над верхней выдающейся губой. Дина вроде знала ее: это была фамильная церебовская повитуха, Таира, кажется.

— Что, началось? — бодро осведомилась толстуха грудным голосом и похозяйски махнула надсмотрщику рукой: отвернись, мол.

Странно, но надсмотрщик подчинился — взялся обеими руками за сиденье стула, на котором сидел, и развернулся вместе с ним лицом к стене. Повитуха тем временем, шумно кряхтя, снимала чуваки. Оставшись в войлочных носках, она пересекла комнату и опустилась на колени рядом с Диной.

— Расстегивай, — велела она, подразумевая, видимо, халат.

Дина расстегнула халат, и повитуха без дальних разговоров принялась за осмотр. Она долго и тщательно щупала Динин живот мягкими теплыми пальцами. Глаза у нее при этом были пустые, обращенные внутрь. И еще она без остановки бормотала чего-то, какую-то невнятицу; Дина неумышленно вслушивалась, пока наконец не разобрала: «Не удавить бы нам его, не удавить бы...»

— А? — толком не поняв себя, встрепенулась Дина, на что толстуха терпеливо пояснила:

— Главное, говорю, чтоб пуповиной не удавили.

Пощупав живот еще немного, она ободряюще похлопала по нему пухлой ладонью и, с кряхтением поднявшись, двинулась к выходу. Там она повозилась некоторое время с чуваками, затем, глянув на Дину, прогудела: «Ну, бывай, мамаша!» — и вышла. Дина таращилась на пустой дверной проем до тех пор, пока

оголенному животу не стало зябко. Тогда она застегнула халат, отвернулась к стене и, укрывшись одеялом, закрыла глаза. Ей приснилась петля из пуповины.

Визиты повитухи стали еженедельными. Можно сказать, что Дина к ним сразу привыкла. Виной тому была, конечно, Таира — от нее, как от всякой природной болтушки, исходили какие-то подначивающие токи: постоянно хотелось вернуть хотя бы словечко в ее бесконечные туры. И когда Дина, не удерживаясь, вворачивала, Таира охотно делилась своими мыслями и переживаниями. Так, например, Дина узнала, что ребенок слишком крупен для нее и роды, скорее всего, будут тяжелыми. Еще Таиру настораживало, что шевеления, поначалу такие регулярные, со временем стали редкими и какими-то неуверенными. «Стесняется он, что ли?..» — задумчиво бурчала повитуха под нос. А однажды, прощупывая Динин живот, она вдруг обрадованно воскликнула:

— Во-он оно как!

Дина не удержалась — спросила:

— Что — как?

— Наконец понятно, как он из тебя полезет!

— И как? — заранее холодея, поинтересовалась Дина.

— Ножками, милая, ножками! — ответила повитуха и расхохоталась.

С того разговора сон у Дины нарушился. За ночь она просыпалась черт знает сколько раз; вместо прежних каких-никаких, а сновидений пошли совсем уж невразумительные обрывки, крошечные и бесполезные, как лужа. К утру она вся была в этой луже, точно оплеванная.

Так все и шло. Очередной муторный день уступал место не менее муторной ночи, чтобы та в свой черед уступила место следующему дню, не отличимому от предыдущего. Терпеть это не было никаких сил, и, как бы защищаясь, Дина насильственно погрузила себя в какое-то помрачение, которое сама же и выдумала. Несмотря на невзправдашную природу, помрачение оказалось целебным: муторные дни и не менее муторные ночи постепенно смазались, превратившись в одно бесконечно долгое, тягучее, лишенное всякого смысла времяпрепровождение. Редкие события, вешками вклинивавшиеся в этот тягостный поток, нисколько Дину не беспокоили, и это было прекрасно.

И так продолжалось бы и впредь, если бы в одну ночь ее не разбудила какая-то новая незнакомая боль в животе. Дина не сразу поняла, из-за чего, собственно, проснулась: боль была слабая, терпимая, грех было придирается. Поэтому Дина махнула на нее рукой и заставила себя спать дальше.

Утром, однако, обнаружилось, что боль никуда не делась, даже, кажется, напротив, слегка усилилась — у нее как бы появились свои притоки и оттоки. Дина маялась весь день, пережидая притоки и переводя дух с оттоками.

Вечером, через час после заката, притоки участились и усилились настолько, что это стало заметно даже надсмотрщику. Он кликнул Зарему. Та пришла, всплеснула руками и побежала за Таирой. Поняв, что таиться больше нет смысла, Дина освобожденно застонала и только тогда с испугом заметила, что из нее что-то вытекает, какая-то прозрачная жидкость, и кубло под ней и вокруг нее уже насквозь мокрое. Она застонала громче, в голос. В комнату сейчас же набилось народу — сбежались, сволочи, как зеваки на зрелище. Дина ненавидяще смотрела, как суетятся вокруг нее женщины разных возрастов и как хмурятся позади этих женщин преувеличенно спокойные мужчины... даже два сопляка затесались было в общую толкучку, но их немедленно обнаружили и вытурили к чертям.

Потом явилась Таира — усиленно работая локтями, протолкалась к Дине, заглянула ей под подол и громко сказала:

— Ага!

Услышав это, четверо мужчин подняли Дину на руки и, поочередно рывая: «Дорогу! Дорогу!», понесли к выходу. Повитуха семенила рядом и отдавала через плечо

какие-то распоряжения. Ей раздраженно отвечали: «Уже, уже, уже!» В дверях произошла заминка, раздались матюги, вместе с которыми накатил очередной приток боли, и какой боли! Задрала голову, Дина заорала, стала отчаянно вырываться, но мужчины держали крепко. Разогнав, наконец, мешающих, они вынесли Дину в коридор и, миновав вереницу дверей, внесли в просторную светлую комнату, где аккуратно уложили на кровать, застеленную свежим бельем.

Дина мимолетом подумала, что и сюда сейчас сбегутся все кому не лень, но Таира быстро выпроводила мужчин, впуслав вместо них Зарему и какую-то чрезвычайно бойкую на вид старушку. Руки Заремы оттягивал глубокий таз с кипятком, так что лица ее было почти не видно за густым паром, поднимавшимся к потолку, а через плечо бойкой старушки перекинута было белоснежное полотенце с замысловатой вышивкой по краю... Таира уже закрывала дверь, когда в проем вслед за старушкой протиснулся Авдан Церебов — красный, донельзя упуханный, словно за ним гнались, но при этом, как всегда, необъяснимо довольный и опасный.

— Иди, я постою, — гундосо сказал он Таире, и в этот момент у Дины случилась очередная схватка.

Забыв про Авдана, повитуха кинулась к вопящей Дине и приказала тужиться что есть мочи. Дина послушно тужилась, снова и снова, но внутри ничего не двигалось. Через минуту, когда все утихло, Дина обессиленно откинулась на мокрую подушку. Глаза выедал пот, а воздух над кроватью был настолько густ и вонюч, что его приходилось глотать, преодолевая гадливость, как тухлый кисель. Повитуха что-то делала, поднырнув Дине под подол, но Дина не придавала этому значения; с детским ужасом ожидая возвращения схваток, она молила себя не кричать, не позориться больше перед этими скотами.

И конечно же, ничего у нее не получилось. С каждым новыми схватками она кричала все громче, пока наконец не сорвала голос. Потом больше скулила — просила попеременно то Таиру, то Зарему, то бойкую старушку все прекратить или хотя бы приостановить до лучших времен, а они знай себе талдычили: «Тужься, девочка, тужься, ну, еще немножко...» — «Заче-ем? — вымученно ныла Дина в ответ. — Разве не понятно: не хочет он вылезать! Не место ему здесь!..»

Она не знала, сколько все длилось. Видела лишь — вымотались все, не только она. Помалкивающий до сих пор Авдан прогундосил вдруг с неприязнью:

— Окаянные бабы, на что вас такими создали?

Таира зыркнула на него, но ничего не сказала, только щеки у нее вспыхнули. Злобно сдув каплю пота с кончика носа, она, кряхтя, влезла на кровать позади Дины, прижалась грудью к Дининой спине и сцепила руки у нее на животе.

— Ты чего? — тревожно пробормотала Дина, предчувствуя неладное.

— Молчи, все хорошо, — сказала повитуха очень спокойно и замерла, уткнувшись лбом в Динин затылок.

Дыхание у нее было жаркое, но ровное. Дина все не понимала, что затеяла эта толстуха, а когда, наконец, поняла, было уже поздно.

Как только начались схватки, Таира принялась с невероятной силой давить на Динин живот. Дина и представить не могла, что в женщине, пусть даже такой крупной, как Таира, может быть столько силищи. Боль обожгла и ослепила, казалось, ей не будет конца. Дина вопила, корчась в кромешной темноте, задевая локтями что-то шершавое, и тут, вмиг упразднив все, раздался оглушительный хруст — это ребра, сломавшись, сами собой втянулись внутрь. Вопль оборвался; Дина застыла с разинутым ртом; боль, на горсть мгновений задержавшись в некой высшей точке, пошла было на убыль, затем моментально исчезла. Тело обмякло, ставши пустой оболочкой — мухой, высосанной пауком. От непреодолимой усталости хотелось сдохнуть. И так обязательно случилось бы, если б темнота перед глазами вдруг не рассеялась и Дина не увидела ребенка.

Бойкая старушка держала его на руках. Он был какой-то синий и лоснился, будто

его смазали жиром. На головке — черный слипшийся волос, на пухленьких ручках и ножках — смешно поджатые пальчики. Кто же это?.. По-гусиному вытянув шею, Дина разглядела крошечный уд. Мальчик. Она родила мальчика.

— Почему он не кричит? — обеспокоенно осведомился Авдан, приблизившись к кровати.

Ребенок и вправду не издавал ни звука и вроде даже не шевелился. Дина напряглась было, но сейчас же расслабилась: мальчик закашлял. Это было очень трогательно, Дина едва не разревелась от умиления, но вовремя сдержалась. А чуть погода вместо нее разреvelся мальчик.

В коридоре, словно поддерживая новорожденного, раздались радостные возгласы.

— Куда уж без этого, — проворчала Таира, слезая с кровати.

— Мы не мы, ежели в комнату к роженице не полезем, — подхалимисто отозвалась бойкая старушка.

И как бы подтверждая ее слова, дверь тут же приоткрылась и в проем просунулся какой-то сияющий от счастья бородач.

— Ну? — закричал он просяще. — Не тяните душу!

— Джигит, — буркнул Авдан через плечо.

— Джиги-ит! — ликующе возопил бородач и пропал.

Возгласы в коридоре стали оглушающими; судя по залихватскому топоту, кто-то принялся танцевать.

Таира между тем возилась с пуповиной: натуго перетянула ее шнурком, который передала Зарема, дождалась, когда пуповина перестанет биться, после чего обрезала ее ножницами, протянутыми той же Заремой.

Мальчик стал сам по себе. Дина почувствовала нечто вроде утраты. Ощущение усилилось, когда старушка бережно передала мальчика Таире и та унесла его в дальний угол, где был стол, а на столе — таз, который давеча притащила Зарема. Дина не видела, что именно повитуха делает с ребенком, судя по плескотне, она его купала, при этом нежно, нараспев приговаривая:

— Я тебя, малютка, только принимала, я тебя, красивый, только омывала, а заступником у тебя — сам Покровитель Мужей. Для него я тебя правила, для него я тебя ладила, дабы стал ты его любимчиком, дабы навещал он тебя всегда в добром расположении, а уходя — оставлял в веселии.

На этом повитуха неожиданно замолкла, а когда развернулась, мальчик у нее на руках был с головой укутан в серый ношенный бешмет, который Дина сразу узнала. Это был бешмет Заурбека, в нем он ходил той ночью. Церебовы, видимо, давали понять младенцу, кто он есть. Гниды, гниды, подумала Дина, с мукой глядя на этот заходящийся в крике сверток. Хотя бы успокойте дитя, он же горлышко поранит... Ей захотелось протянуть руки, чтобы взять и самой унять, убаюкать мальчика, но тут она заметила, что Зарема и бойкая старушка, одинаково потупившись, пятятся зачем-то к выходу. Она перевела недоуменный взгляд на Авдана. Как раз в этот момент Авдан украдкой показывал Таире на дверь: и ты, мол, тоже проваливай. Дина горько усмехнулась; она очень ясно понимала, что все это значит.

Друг за дружкой женщины вышли в коридор, полный ликующего народа. Дверь за ними плотно закрылась, и Дина осталась наедине с Авданом. Радостные крики за стенкой не мешали ни ей, ни ему. Не сразу, конечно, но Дина посмотрела Авдану в глаза. В глазах у него читалось холодное безразличие. Ничего нельзя было сделать. Конец песенки. Остервенев от безвыходности, Дина разжала слипшиеся губы и в полминуты забросала этого подонка проклятиями, как забрасывают мертвеца землей. Авдан коротко кивнул каким-то своим мыслям и двинулся на нее...

Люди в коридоре, приветствующие нового члена семьи, услышали короткий вскрик, но ни на секунду не прервали веселья.

6

Вражда длилась больше года. Тмайновы потеряли девятнадцать мужчин и семь женщин, Церебовы — пятнадцать мужчин и девять женщин. Детских потерь не считали, хотя их тоже было немало. Как, впрочем, и потерь стариков.

Кровники не совершали преднамеренных набегов, не выковыривали друг друга из саклей, как в самом начале проделал это Тотырбек Церебов, и вообще избегали любых затяжных стычек, могущих закончиться большим количеством жертв... Но они охотно подстерегали друг друга на пустынных дорогах и отдаленных пахотах, близ целебных источников и в лесах на звериных лежках; они, как изгнанные из стаи перьярки, обшаривали пастбище за пастбищем, пока не обнаруживали искомое — чабанов, принадлежащих к ненавистой фамилии, после чего немедленно их кончали, а бесхозный скот угоняли на свои пастбища; они обманом, через третьих лиц, выманивали неосторожных с общих празднеств и либо убивали тут же, на месте, либо силком волокли к себе и изуверски расправлялись с несчастными там, толпой, на глазах у сдержанно-довольных женщин и бездумно ликующих подростков, а потом бросали обезображенные тела в Мамисондон, и безразличная река, уродуя трупы еще больше, несла их вниз по течению, чтобы прибить к берегу у самого выхода из ущелья, недалеко от Цми, где имелась спокойная заводь, полная всеядной форели.

Те, кто не находил в себе сил защитить семью, чохом продавали сакли, хозяйство и, прихватив скарб, бежали в аулы, где жила мало-мальски обширная родня и имелись сторожевые заставы. Аулы, в которых жило больше одной семьи, находящейся в состоянии вражды, давно обзавелись заставами.

Жителям Мамисонского ущелья такое положение дел очень не нравилось. Сначала думали, что враждующие стороны, испугавшись дальнейшего развития событий, созовут посреднический суд, где и помирятся к вящему облегчению всех и каждого. Потом, когда стало ясно, что ни о каком суде и речи быть не может, люди привычно запаслись терпением — подобные межфамильные усобицы затухали, как правило, сами собой в течение месяца-другого. Но с Тмайновыми и Церебовыми такого почему-то не получилось. Убийство у них следовало за убийством, и с каждым новым убийством вражда делалась все непримиримее, пока наконец не переросла в некую войнушку, вялотекущую, но стойкую, как запашок в отхожем месте.

В убытке, таким образом, оказывались все, не только кровники. Войнушка мешала нормальной работе, торговле да и просто жить. Детей больше не отпускали со двора. До родни, в соседние аулы, приходилось ездить, как по чужбине, вооруженными до зубов, а добравшись до места, потеть и переживать уже там: как, мол, дома — стоит ли еще сакля или одно пепелище осталось? За скотом следили днями и ночами, так как его могли запросто угнать вкуче с угоняемым; иди потом доказывай, что вон те девять коровок случайно в это стадо затесались. Загулявших кобелей и сук больше не ждали, а заводили новых — и сразу же начинали натаскивать на чужаков. К источникам девушки ходили теперь исключительно стайками и обязательно под присмотром всем знакомой и уважаемой тетки, которая в случае чего могла бы поручиться за каждую подопечную: нет, мол, среди них ни Церебовых, ни Тмайновых, чего привязались?

В конце концов такое житье вусмерть всех допекло, и люди решили устроить собственный суд, чтобы насильно помирить безумцев. И когда семь старшин-посредников пришли с этим требованием сначала к Тмайновым, а затем к Церебовым, и те и другие, поартачившись совсем недолго, согласились явиться в назначенное место и если не пойти на мировую, то, по крайней мере, послушать, что скажет противная сторона.

Собраться порешили в Кадисаре. Это был среднего размера аул, располагавшийся далеко на западе Мамисонского ущелья, близ одноименного перевала, за которым начиналась грузинская земля. Выбрали Кадисар главным образом потому, что в нем

не жило ни одного Тмайнова и ни одного Церебова и вздорная ихняя войнушка досюда еще не докатилась.

Видимо, опасаясь какой-нибудь подлости, кровники явились большим числом — не менее шестидесяти воинов с одной стороны и примерно столько же с другой. Устроители суда предвидели это и заранее приняли меры. Во-первых, каждый из семи старшин-посредников привел с собой по тридцать мужчин в полной боевой готовности; таким образом, случись, не дай бог, резня, кровников усмирили бы без особого труда. Во-вторых, в сам Кадисар, в центре которого должен был состояться суд, пустили только старших представителей враждующих фамилий, остальная же братия встала двумя лагерями за чертой аула. Ну и наконец, перед тем, как, собственно, звать в Кадисар, с кровников взяли слово, что, мол, ничего такого они на суде не выкинут, даже если их к этому будут всячески подстрекать.

И подстрекание действительно имело место. Не успели тмайновские и церебовские верховоды — крепкие еще мужчины лет пятидесяти — подняться в Кадисар, как два враждующих лагеря, располагавшиеся в полусотне шагов друг от друга, принялись перекидываться презрительно-насмешливыми замечаниями, соблюдая, впрочем, некое подобие меры. Устроители суда предвидели и такое, поэтому, как только случился этот обмен любезностями, в пустое пространство между лагерями втиснулась сотня готовых к бою примирителей. Перебранка сейчас же затронула и их, но примирители не растерялись — беззлобно и со знанием дела парировали все колкости и подковырки, пока кровники, по-ребячьи увлекшись, не забыли о существовании друг друга. Возникшее было напряжение незаметно спало, и постепенно все взгляды обратились в сторону Кадисара, где своим ходом шли переговоры.

— Люди — странные существа, — говорил Ираклий Гаев, один из старшин-посредников, взявший слово первым. — Все у нас с ног на голову, все не по-людски. Тайны природы, которые мы разгадали, силы земли, которые подчинили, дары богов, которыми мы одарены, — все без исключения используем мы во вред...

Длиннобородый, лысый, как колено, с набухшими сизыми мешками под глазами, он стоял, опираясь на посох, посередине выжженного солнцем пятачка и с видимым усилием переводил взгляд с церебовских верховодов на тмайновских и обратно. Те, расположившись в двух противоположных краях пятачка, казалось, не слышали его — не убирая рук с эфесов, они настороженно зыркали по сторонам, ожидая какого-нибудь подвоха. Но подвоха ждали только от них. Примирители, широкой подковой охватившие пятачок, следили за каждым их движением. Там же, среди примирителей, в первых рядах, можно было увидеть шестерых старшин-посредников.

— ...А ведь не нужно быть семи пядей во лбу, дабы понять, к чему это приводит, — нравоучительно продолжал Ираклий Гаев. — Зачем обязательно пробовать море на вкус — неужто и так не ясно, что оно соленое? Посмотрите на змей — опаснейшие из созданий! Но и они никогда не жают друг друга. Потому как стоит двум гадам сцепиться — умрут оба. Стоит сцепиться всем — умрут все, ибо нужен один-единственный укус, а его можно сделать и будучи смертельно раненым...

— Гаев, уважаемый, — прогундосил вдруг Авдан Церебов, вынуждая старшину замолчать. — Все знают, говорить ты искусник. Но давай-ка без этого вот... Море, змеи... Тут все-таки не кумушки собрались.

— За языком-то следи, — предупреждающе сказал кто-то из примирителей.

Авдан покосился в ту сторону, откуда донеслось замечание, и переспросил с вялым удивлением:

— Чего?

— За языком, гово...

— Кто это вякает? — перебил Авдан. — Не вижу.

Раздвигая товарищей плечом, от примирителей отделился кряжистый хмурый юноша с едва наметившейся бородкой. Это был Тедо Гаев, внук Ираклия.

— Я, — сказал он с вызовом.

— А-а, — протянул Авдан. — И?

— И то. Следи за языком.

— А иначе? Зацелуешь насмерть?

Кто-то из Церебовых фыркнул в бороду, Тмайновы многозначительно запереглядывались, а среди примирителей поднялся возмущенный гул. Пунцовая от унижения, гаевский юноша набрал в грудь воздуха, чтобы достойно огрызнуться, но Авдан и тут его уел.

— За языком надлежит следить тебе, малец, — бросил он пренебрежительно. — Поставили стоять, вот и стой. Нечего вякать, когда взрослые дяди разговаривают.

— Довольно! — прикрикнул Ираклий Гаев, поднявши белую сухую ладонь. Несмотря на то что голос его был по-стариковски слаб, возникшее шевеление вокруг пятачка тут же унялось. — Тедо, Церебов прав: знай свое место. Когда мне понадобится твое заступничество, я сам тебе скажу... А ты, — обратился он к Авдану, — не задирай моего внука. Видишь же: молодой, горячий. Или тебе мало одной вражды? Решил вдобавок с Гаевыми поцапаться?

Авдан ничего на это не ответил — заухмылялся только.

— Вот и я так думаю, — сказал Ираклий Гаев. — Вы и без того наворотили дел. Стороняся вас все — и близкие соседи и дальние. Только и слышно: убийцы, убийцы, убийцы. Где это видано, чтоб о Церебовых так отзывались? Неужто это те самые Церебовы, на которых некогда все равнялись? Завидки людей брали, когда видели церебовские поголовья; когда сидели на церебовских застольях; когда приглядывались к церебовским девушкам. А сейчас?.. Нет, Авдан, так не пойдет. Так совсем не пойдет. Еще немного — весь Мамисон против себя ополчите. Что тогда станете делать? Молчи, не отечай! Я не к гордости твоей взываю, а к благоразумию.

Убедившись, что Авдан не собирается его прерывать, Ираклий Гаев повернулся к Тмайновым.

— А вы? Да, в семье у вас случилось несчастье. Да, изувечили вам девушку. Да, первая кровь не на вас... Но неужто вы и впрямь намеревались доводить до такого вот? — Он приподнял посох и широко повел им из стороны в сторону. — Когда нет людям ни сна, ни покоя. Когда в аулах вместо радостных песен и плясок — стон по мертвым. Я не верю, я не хочу верить, что вы добивались именно этого! Потому как Тмайновы для меня — это перво-наперво добрые соседи. Мой дед вековал с вами век. Мой отец вековал с вами еще век. Я с вами рос и остарился вот. Я возделывал с вами одну землю, сидел с вами за одним столом и воздавал хвалу одному богу. Не может быть, чтобы кровь у нас оказалась разного цвета! Не может быть, чтобы совершая то, что вы совершаете...

Тут его оборвал Болат Тмайнов.

— Мы тебя слышали, Ираклий, — нетерпеливо сказал он. — Что ты предлагаешь?

— Что предлагаю? Изволь: вы должны замириться.

Болат мотнул головой как бы в недоумении.

— Уточни, пожалуйста: мы, Тмайновы, должны просить о мире Церебовых. Так?

— Нет, — ответил Ираклий Гаев. — Вы, Тмайновы, и вы, — он глянул в противоположную сторону, — Церебовы, должны замириться. Никому ни о чем просить не надо — ни вам, ни им. Это, ежели угодно, требование.

— Требование... — повторил Болат.

— Да, — подтвердил Ираклий Гаев, не замечая или не желая замечать издевки в голосе Болат. — Это нужно прекратить, пока все не зашло чересчур далеко.

— Чересчур далеко... — снова повторил за старшиной Болат.

— Именно! — сказал Ираклий Гаев со слабым нажимом, но Болат уже не слушал его.

— То есть ты, — сказал он, возвысив голос, — требуешь от меня замирения. Пока все не зашло чересчур далеко. Требуешь! От человека, любимой племяннице которого отрезали уши и погнали из дома как какую-то... как... — Нужное слово все не шло на язык, и Болат скрежетнул зубами. — Ты никогда меня не поймешь, — проговорил он негромко. — Вы, — он обвел недобрыми глазами примирителей, — никогда меня не поймете.

— Ошибаешься! — с чувством возразил Ираклий Гаев. — Я тебя очень хорошо понимаю! Я вас всех понимаю — и Тмайновых, и Церебовых...

— Ой ли! — перебивая, воскликнул Авдан. — Так-таки понимаешь?

Ираклий Гаев не без труда повернулся к Церебовым. Авдан продолжал:

— Понимаешь, каково это — узнать, что к тебе в аул — ночью — явились два душегуба и лишили жизни двенадцатилетнего мальчика? Ни за что ни про что. А потом еще устроили стрельбу. Ты и в самом деле меня понимаешь, уважаемый Гаев? Тогда растолкуй, что я должен говорить отцу мальчика, Тотырбеку. Извиняй, мол, Тото, здесь такое дело, все нас понимают, все сочувствуют, но решено махнуть на Абе рукой. И ты, мол, тоже махни. Так, что ли?

— Твой Тото уже вдоволь нахлебался крови, — пробурчал Болат, впервые за все время разговора обратившись напрямую к Авдану. — Не забыл, случаем, что он натворил в Клиате?

Взгляды кровников столкнулись.

— Не забыл, — прогундосил Авдан в полной, как перед грозой, тишине. — А ты не забыл, что твои устроили недалеко от Саудура?

— Такое забудешь! — широко улыбнувшись, отозвался Болат. — А ты — помнишь наших охотников?

— Каких еще охотников?

— Тех, что вы подстерегли у Дзедо.

— А, на перевале? Как же, как же. Об одном жалею: что меня там не было.

— А уж как я жалею, что меня-а-а там не было...

— Ничего, в другой раз повезет. Но в сторону Дзедо, слышал, вы больше ни ногой?

— Почему это? Серна там обильная...

— Странно, а мне вот говорили, что с тех пор вас там не видали.

— Плохо смотрели, значит.

— Хм. А может, это вы хорошо прятались?

— Зачем сразу «прятались»? От кого?

— Да все от того же.

— Смешной ты человек, ей-богу, — было б от кого!..

Они беседовали с преувеличенным миролюбием, вопреки тем словам, что произносили. Всякому было видно, как сильно они презирают друг друга, как нестерпимо хочется им отбросить все эти пустопорожние разглагольствования, притворные улыбочки, позорное бездействие — и молча, без предупреждения, рвануться, обнажая шашки, навстречу друг другу, сшибиться посередине пятачка, и будь что будет. Но, связанные словом, они продолжали стоять на месте.

— Ты мне вот что скажи, несмешной ты человек, — улыбаясь, говорил Авдан. — Брат твой, Леко, взаправду помер или вы просто слух такой пустили?

— Все-то тебе знать надо, — возвращая улыбку, отвечал Болат.

— Слышал, он порывался отдать нам обратно калым за дочку, а вы, сквалыги, ему не позволяли.

— Так а зачем вам калым? У вас и без того скота через край: сколько не угоняй — все не убавляется.

— Что да, то да. Но я о другом. Правда, что он пополз ночью в хлев и вырезал там всю скотину, а затем там же, среди скотины, и помер?

— Выдумщик из тебя — как из говна пуля.

— Враки, стало быть?

— Стало быть, враки.

— Ну так поведай, как дело было.

— Вот еще!

— Да ладно, не ломайся, тут все свои... А я тебе расскажу, что с Диной случилось.

— Думаешь, не знаю?

— Брось! До сих пор ведь ищите. Вот скажешь про Леко — авось найдете.

Тут притворно-любезная улыбка на губах Болата сделалась какой-то насильственной. Он перехватил взгляд Ираклия Гаева и выдавил предпоследним голосом:

— И вот с ними ты собрался меня замирать? — На этом выдержка изменила ему окончательно, и он заорал: — Ты вообще в своем уме?! Мир — с этими?! Да пока я жив, пока дышит хоть один Тмайнов, этому не бывать! — Он повернулся к примирителям. — Поймите это и примите! Не бы-вать!

— А-а-а! — разом взревели за его спиной родичи и сейчас же смолкли и замерли, готовые отражать нападение.

Но нападения не случилось. Церебовы остались на местах. Лишь Авдан, с волчьей ухмылкой глядя на Болата, захопал ему, как даровитому лицедею.

— Вот это уже разговор! — удовлетворенно прогундосил он. — За этим, говоря начистоту, я сюда и ехал. А то мне все уши прожужжали: Тмайновы, дескать, уже не те. Не-ет, есть еще порох. Это хорошо. Не люблю, когда идут на попятную. Все надо доводить до конца.

— До какого еще конца?! — упрекающе закричал Ираклий Гаев. — Слепцы! Бестолочи! Вы ж не только себя приговариваете; вы приговариваете своих детей и внуков! О них подумайте!

— Я только о них и думаю, — немедленно возразил Авдан. — Потому что ежели о них не думать, о них подумает Болат Тмайнов. Верно я говорю, Болат?

— Вернее некуда, — отозвался тот мрачно.

— Слыхал? А посему сообщаю: зря ты, уважаемый Гаев, собрал нас здесь. Ничего не изменить. Пойми это и прими, тут Болат дело сказал.

Некоторое время Ираклий Гаев глядел на Церебовых, будто видел впервые. Потом повернулся к Тмайновым. Потом опять к Церебовым. Кровники отличались решительно всем. Церебовы — долговязые, кадыкастые, нарочито осанистые, с вытянутыми, как бы сплюсненными с боков, лицами, кожа светлая, почти девичья, губы тонкие, бескровные, бороды ухожены, седина на щеках блестит благородно, точно беспримесное серебро. Блестит серебром и оружие — пистолеты, шашки, кинжалы, даже на газыри серебра не пожалели. И конечно же, одежда — серые, с золотой вышивкой чекмени, черные шелковые бешметы, смушковые папахи — все на вид новое, ни разу не надеванное, аж кричит о чистоте и достатке. Тмайновы же, напротив, были сплошь коренастые, широколобые, сутуловатые, с упрямой посадкой головы, лица сильно обветрены, носы шелушатся, из ноздрей торчат пучки жестких волос, в углах ртов — глубокие складки. И седина в клочковатых выгоревших бородах совсем не походит на серебро. Не видно серебра и на оружии. И одежда самая что ни на есть простая — линялая и грубая, прям как хозяйева, то ли бордовая с черным, то ли пес разбери какая...

Но что-то у них было общее — у Церебовых, привыкших к достатку, и Тмайновых, не знавших достатка никогда. Какая-то неуловимая черточка связывала их крепче родственных уз. И Ираклий Гаев все никак не мог понять, что это за черточка. Да и времени не оставалось... Он обменялся быстрыми взглядами с шестью старшинами, внимательно следившими за ним, потом снова оглядел кровников и сказал:

— Либо вы замиритесь, либо мы принудим вас это сделать.

Авдан поднял брови.

— Как, интересно, ты собрался нас принуждать?

— Как получится.

— Нет уж, давай без экивоков. Гляди. Для того чтобы заставить меня забыть о Тмайновых, тебе нужно самому их перебить...

— Пфе! — донеслось со стороны Тмайновых.

— ...Причем подчистую, — не обративши на это внимания, продолжал Авдан. — Но ежели ты попытаешься их перебить, я сделаю все, чтобы помешать тебе. А ежели

ты попытаешься перебить, скажем, мою фамилию, Тмайновы, я уверен, тоже не станут сидеть сложа руки. Верно я говорю, Болат?

— Верно, гнусавая ты сволочь. Твоя шкура принадлежит мне одному.

— Слыхал? — Авдан ликующе воззрился на старшину. — Так что пойми и прими.

Иного выхода, увы, нет.

— Есть, — убежденно сказал Ираклий Гаев. — Все можно устроить полюбовно.

— Полю... как?

— Полюбовно. С помощью откупа.

Авдан выжидающе притих, а старейшина взялся пояснять:

— Мы сосчитаем убитых. И с твоей стороны, и со стороны Тмайновых. Найдем виновных, и они выплатят пострадавшим семьям...

На этом он вынужден был оборвать, так как кровники, не сговариваясь, принялись вдруг хохотать. Они ржали как умалишенные, которым показали палец, выгибали спины, хватались за бока и изо всех сил топали по окаменелой глине, точно отбивая невиданный доселе симд¹, и клубы серой пыли, стелясь по земле, все расширялись, пока вся поверхность пятачка не скрылась из виду.

— Па-лю-бовно! — истошно кричали с одной стороны.

— О-о-откупом! — стонали с другой.

— Виновных, грит, найдем! — едва не плача, ревели черт пойми откуда.

Понемногу веселье сошло на нет. Ираклий Гаев, стоя по колено в пыли, укоризненно качал лысой головой, примирители обескураженно хмурились, а раскрасневшиеся кровники, отдуваясь, утирали слезы, поправляли съехавшие набок папахи и повторяли на разные лады: «Не, слыхали? Сосчитать предлагает...»

Когда и эти голоса умолкли, Болат сказал:

— Ежели у тебя все, Ираклий, мы пошли.

— Да, — согласно кивнул Авдан. — Мы тоже.

Кровники, не сближаясь и не отдаляясь, двинулись прочь с пятачка. Подкова примирителей вынужденно раскололась в двух местах, пропуская их.

— Стойте! — просяще крикнул в спины Ираклий Гаев, но никто его не послушал. — Слепцы, — горестно пробормотал он под нос. — Бестолочи. — Не удержавшись, он с досадой стукнул по земле посохом, едва не угодив себе по пальцу, и без того больному. — Бестолочи, — повторил он и поднял глаза.

Оказывается, его обступили. Шестеро старшин-посредников стояли перед ним. За ними, возвышаясь на целую голову, а то и выше, переминались все остальные.

— Зря мы это затеяли, — проговорил Ираклий Гаев, обращаясь к старцам. — Только усугубили. Теперь они и головешки друг у друга из костров не возьмут: побрезгуют. Скажут, огонь горит совсем не так.

— Да-а, — надтреснуто протянул Годас Ардасенов. — Сели мы в лужу.

— Перемудрили, — согласился Ахсар Кадзов.

— Но ты тоже хорош! — скандальным голосом сказал Ираклию Сека Кайтуков. Ираклий Гаев покосился на него.

— А что я?

— То! Зачем, спрашивается, позволил им языком промежду собой чесать? Это ж все равно что в погребке их запереть и пойти до соседа. Надо было самому говорить без передыху, а они — чтоб слушали!

— Раз такой мудрый, чего сам слово не взял?

— Я б взял, — заверил Сека Кайтуков. — Да вот условились иначе: ты — высказываешься, мы ежели что — пособляем. Но ты так высказался, что и пособлять не пришлось.

— Да все он правильно говорил, — вступился за Ираклия Маирбек Боциев. — Не в нем дело, а в кровниках.

¹ Один из наиболее древних танцев осетин.

— Верно, — поддержал Урузмаг Рамонов. — Не видел, что ли, как они друг на друга пялились?

Сека Кайтуков отмахнулся от обоих.

— Надо было сделать так, чтобы пялились они на Ираклия, и только на него!

— Каким это образом? — насмешливо поинтересовался молчавший до сих пор Дзибо Байсангуров. — По очереди в Кадисар звать, что ли? Они и приперлись-то сюда друг на друга поглядеть.

— Ладно, — сказал Ираклий Гаев, подняв ладонь. — Сделанного не воротить. Сейчас как быть?

Старцы притихли. Помалкивали и воины за их плечами. И тут раздался голос Тедо:

— Надо их воротить и не отпускать, пока не замирятся.

Ираклий Гаев поискал глазами не по годам языкастого внука.

— А, вот ты где, — сказал он, найдя. — Кто там рядом поздоровее... Гия! Ну-ка, отвесь этому умнику замакушину.

Великан Гия Гаев тотчас исполнил просьбу — махнул снизу вверх лапищей, и юноша, дернувшись, вынужден был сделать шаг вперед, чтобы устоять на ногах; папаха его забавно сбилась на брови.

— Поговори мне еще, — сказал Ираклий Гаев, сурово глядя на покрасневшего до ключиц внука. — Второй раз за утро отличился. Зачем только отец тебя взял? Где он сам, кстати?

— Внизу, — поправляя папаху, глухо пробормотал Тедо.

— А?

— Внизу, говорю.

— Внизу... А ты чего здесь забыл? Ну нет, я этого так не оставляю. Сначала чуть вражды мне с Церебовыми не устроил, теперь советы старшим раздаешь. Молоко на губах не обсохло, а уже советует!

— Видно, в кого пошел, — по обыкновению насмешливо заметил Дзибо Байсангуров.

Ираклий Гаев с неудовольствием посмотрел на него.

— Тебе всё шуточки, да?

— Ну почему же? Мальчишка-то дело говорит: воротить бы их.

— А ежели упрутся? — ядовито поинтересовался Ираклий Гаев. — Один случайный выстрел — неважно, с чьей стороны, — и мы утопим землю в крови.

— Твоя правда, — согласился Дзибо Байсангуров. — Но что-то ведь делать надо.

Надо, подумал Ираклий Гаев. И немедленно. Он прикрыл на секунду глаза.

— Так, — сказал он распорядительно. — Гия, спеши вниз и передай: и тех, и других необходимо проводить. Прямо до аулов. А лучше — до крылечек. И чтобы по пути они ни в коем разе не попадались друг другу на глаза. Я ведь правильно понял: одни добирались сюда по большой дороге, другие — по северной тропе?

— Почти, — просипел Гия. — Тмайновы — те, что из Тиба и Сатата — обогнули Тли по северу и близ Лисыри спустились на дорогу. Дальше ехали, дыша Церебовым в затылок. А те, как назло, будто никуда и не спешили, всё лошадей придерживали. — Он сплюнул. — Попотеть там пришлось. Думали, не доедут.

— Неважно, — сказал Ираклий Гаев. — Важно то, что они пообещали не обнажать оружия здесь, в Кадисаре. Про обратную дорогу речи не шло. Поэтому не подпускайте их друг к другу. Даже на расстояние двух полетов пули. Не хватало еще, чтоб решающая ихняя драчка оказалась на нашей совести.

— Вот смеху будет, — сказал Дзибо Байсангуров.

Церебовы, растянувшись по дороге, ехали мимо продолговатого, грядой, холма, покрытого частым травостоем. Впереди, позади и даже среди них ехали примирители. Никто не интересовался, чего это им вздумалось сопровождать Церебовых, все было ясно и так. А потому ружейные чехлы позади седел пустовали: заряженные ружья либо

держали чуть на отлете, стволами вниз, либо везли, положив перед собой на высокую луку, где они покачивались в такт лошадиному шагу.

Уже битый час солнце висело точнехонько в зените и перемещаться, как видно, не спешило. Тени куда-то подевались. Злобный яркий свет заливал все вокруг. От духоты не было спасения. И не было спасения от пыли, поднимаемой копытами. Все обливались потом, шурились и дышали через рот. Лошадей то и дело приходилось хлестать по ушам, чтобы шли ровно. От раскаленных валунов, торчащих из дерна тут и там на обочине, волнами накатывал жар; некоторые, проезжая, заслоняли лицо рукой, до того было горячо. Долину справа от дороги искажало марево: все там, внизу, дрожало и переливалось, но если хорошенько присмотреться, можно было различить приземистые сакли у осинової рощицы и овечью отару, мирно пасущуюся поодаль. Верхушка холма слева от дороги тоже расплывалась от зноя, и там, на склоне у самого гребня, тоже паслись овцы вперемешку с коровами, а два молоденьких чабана, усевшись на корточки, безотрывно глядели сверху вниз на вереницу всадников — верно, пересчитывали их по чабанской привычке.

— И эти пьются, — с ненавистью процедил Тотырбек, шурясь на чабанов. — Подняться бы туда... выколупать эти любопытные глазенки.

— Ага, — живо подхватил едущий рядом Мурат. — Затем — в тряпочку и голодранцам на порог.

Тотырбек покосился на него.

— Думаешь, я свихнулся, да?

— Самую малость.

— Я всерьез спрашиваю.

— О таком, брат, не шуткуют, — ухмыльнувшись, заметил Мурат.

Как обычно, Тотырбеку захотелось дать ему по зубам. И как обычно, он перетерпел это желание.

— То есть голодранцы, по-твоему, вообще без соглядатаев обходятся? — осведомился он.

Все еще ухмыляясь, Мурат промямлил:

— Ну, не так чтобы совсем без.

— А как?

— Поаккуратней, что ли. У них, конечно... — Тут гнедой конь под Муратом замедлился и, издавши короткий стон, вознамерился было бочить. — Ну что ты будешь... — проворчал Мурат и стегнул животное поводьями. — Прямо ходи, шлею те под хвост! — И когда конь образумился, снова повернулся к Тотырбеку: — У голодранцев, говорю, баран на баране, конечно, но все же. Что ни говори, а у Болат, скажем, котелок того, варит. И неплохо, между прочим! Как они обвели нас у Саудура...

— Вона что вспомнил, — проговорил Тотырбек. — И как — считаешь, без соглядатаев там вышло? Их же в три раза больше оказалось. В три!

Мурат поморщился.

— Рассказней-то не слушай. Гигот тот еще брехун. И вообще, у страха глаза велики.

— Может быть, — не стал спорить Тотырбек. — Но повторения той стыдобыщи я не хочу.

— Я тоже, — отозвался Мурат. — Однако наблюдать, как у тебя крыша подтекает...

— Ничего у меня не подтекает.

— Плюнь ты на этих чабанчиков, вот что я хочу сказать.

— Плюнь... — пробурчал Тотырбек. — Никакой слюны не хватит всех переплевать.

Мурат соорудил обиженную гримасу.

— А я тебе на что? Гляди. Ха-а-арктыфу! И так круглые сутки.

Тотырбек утомленно отмахнулся — такого лишь могила исправит — и посмотрел через плечо. Сразу за ним на молодой кобылке соловой масти ехал Авдан — мрачный,

сощуренный, с широкими темными пятнами пота, расплывшимися из-под мышек чекменя. За все время пути он вроде бы не проронил ни слова. Тотырбек придержал лошадь и, поравнявшись с ним, спросил:

— Чего ты?

— Так... — ответил Авдан уклончиво.

— Все ведь ровно прошло.

— Ровно-то ровно. — Авдан утер собравшуюся на бровях влагу тылом руки. — Да вот какого, спрашивается, черта за нами увязались эти вот? — Он показал глазами на ближайшую тройку примирителей. Те ехали обочиной чуть впереди и делали вид, что не замечают ни жары, ни Церебовых. — Ведь слово Гаеву дал: не трону я сегодня твоих ненаглядных Тмайновых. И завтра, так и быть, не трону. Пусть, говорю, поживут голодранцы, дух переведут. Нет, решил по-своему сделать... За кого они вообще нас держат?

— Боятся, видимо, — сказал Тотырбек. — Опасаются.

— Им-то чего? — проворчал Авдан. — Мне они задаром не нужны.

— Да я не за них. Я за нас и голодранцев.

Авдан непонимающе нахмурился.

— При чем тут вообще голодранцы?

— Ну как... В кои-то веки повстречались такущим числом. И не абы кто, а самый цвет — воины, при оружии, верхом.

— А, вот ты о чем, — сказал Авдан без всякого выражения.

— Умгу. Как тут разминешься?

— Как-как? Да вот как-то так. Как-нибудь. Через «не могу». — Авдан, кривясь, сглотнул. — Сучья жара, — выругался он вполголоса. — Внутри пустыня, поди. — Он плотно сжал губы и задвигал языком, собирая слюну. Затем опять сглотнул. — Пойми, Тото, — сказал он, откривлявшись. — Слово есть слово, и с нас его взяли. Не помнишь разве, что твердил нам в детстве Старик? «Невысказанному слову ты хозяин...»

— «...высказал — уже его раб», — закончил Тотырбек.

— Во-во, — прогундосил Авдан. — Точнее и не скажешь. Так что разминуться с голодранцами, конечно, сложно... где-то даже позорно... но — необходимо. Это самое толковое, что мы можем сделать... Почему так смотришь? — спросил он вдруг.

Тотырбек спохватился и мотнул головой: забудь, мол, ерунда.

— Чего уж, — сказал Авдан добродушно. — Говори давай.

Тотырбек помешкал немного да и решился. И в самом деле — чего уж.

— Вот слушаю тебя, — сказал он, — а сам думаю: совсем как Старик разговаривать стал наш Авдан. Ну прям один в один.

— Разве? — удивился Авдан. — Что-то не замечал.

— Кроме шуток, точь-в-точь он.

— Да не, — сказал Авдан. — Я ведь гнусавлю безбожно. Еще с малолетства.

— Так я не о голосе, — возразил Тотырбек. — Я о... — Он запнулся. — А пес его знает, о чем я! О рассудительности, что ли. Вот так же Старик все нам и разжевывает. Усядется на свой «олений» стул и, пока не разжует, не успокоится. И так гладко всегда получается — пикнуть поперек совестно.

— Что ж, может, и так, — произнес Авдан, внимательно его выслушав. — Но, ей-богу, не нарочно. Само выходит.

— Еще б не само! Он ведь тебе как отец: воспитал, на ноги поставил.

— Не только меня, — подняв палец, напомнил Авдан. — Зарему еще. Как родители у нас угорели, так сразу и взял. Ни с кем не посоветовался. На женушку рукой махнул. На сестер-нахлебниц рукой махнул. На всяких-прочих... Хотя с отцом моим, говорят, на ножах был. На дух не переносили друг друга.

— Вроде как бабы не поделили, — сказал Тотырбек.

— Да. Матери моей. Трое ее добивались — Старик, мой отец и кто-то из Кучиевых. Кучиеву Старик с отцом морду начистили. Потом долго промежду собой отношения

выясняли. В конце концов мать выбрала отца, а Старик остался с носом... И все равно взял нас. Вот какой это человек.

— Не каждый так поступит, — произнес Тотырбек с уважением.

— Еще бы! Я, скажем, так не смогу.

— Я, наверное, тоже, — подумав, признался Тотырбек.

— Здрасти! А Заура кто растит?

Тотырбек несогласно цокнул.

— Это другое. Заур — память о брате.

— Знаю, — мигом посерьезнев, буркнул Авдан.

— Он так на него похож — вылитый папаша!

— Да знаю я, — повторил Авдан почти с досадой.

Тотырбеку хотелось рассказать, как тяжело ему было еще совсем недавно, как глодала его чудовищная тоска, как боялся он оставаться наедине с почерневшей от горя женой в пустой, без Абе, сакле... и как малыш этот, донельзя шумный, невинный, трогательно-крохотный, еще беззлобный, пугающийся своих ручек, изменил все в одночасье. Но он также испытывал огромную неловкость и поэтому сказал только:

— Ладно, забыли.

Некоторое время ехали молча, преля от жары и с тупым равнодушием наблюдая за Муратом, — тот, чертыхаясь, стегал коня, снова вздумавшего бочить. Потом Авдан сказал:

— А за Леко, видать, правдивые слухи.

— Думаешь? — тут же отозвался Тотырбек, желая задушить неловкость, все еще сидящую в груди. — Как по мне, это даже для голодранцев диковато. Поползти ночью в хлев... — Он с сомнением покачал головой.

— Я тоже сначала так решил, — прогундосил Авдан. — А сегодня услышал, как Болат отнекивается, и понял: правда. По-другому и быть не может.

— Жалко, коли так, — сказал Тотырбек. — Мне хотелось самому его прикончить.

— У тебя есть еще Серго, — напомнил Авдан.

— У нас, — поправил Тотырбек. — И не только Серго — орава целая. На всех хватит.

— Ишь какой щедрый!

— И что самое замечательное, — прибавил Тотырбек, — после того, что случилось в Кадисаре, никакая уважающая себя фамилия не даст им ни одной, даже самой наираспоследней невесты.

— Э, нет, — прогундосил Авдан. — Тут палка о двух концах. Нам ведь тоже после Кадисара ни одной невесты не светит.

— Мы — Церебовы! — возразил Тотырбек. — И я не за это.

— А за что?

— Ну как... — Тотырбек принялся отгибать пальцы. — Молодые голодранцы останутся без невест и женихов — так? Пожилые голодранцы со временем перестанут плодиться — так? За стариков вообще молчу. Не будут же они друг с другом сношаться, дабы род продолжить!

— А-а-а, — протянул Авдан понимающе. — Обождать советуешь. Чтoб сами перемерли.

— Можно и обождать, — сказал Тотырбек. — А можно и пособить малость.

Авдан заинтересованно воззрился на него.

— Как это? — спросил он и сейчас же догадался сам. — А, понял. Предлагаешь вырезать им всех баб. — Он ухмыльнулся. — Ловко... Однако ты не учел, что и они мог...

Он вдруг замолк на полуслове. Глаза его выкатились.

— Твою-то мать, — помертвевшим голосом пробормотал он и, резко согнав кобылку на обочину, дал ей шенкеля.

Тотырбек, ничего не понимая, но чувствуя, что произошло нечто непоправимо и невообразимо страшное, тоже свернул на обочину и пустил лошадь вслед за Авданом. Из глаз немедленно брызнули слезы. Родичи, мимо которых он несся,

кричали вдогонку: «Эй!.. Что такое?.. Куда вы?..» Тотырбек не мог ответить: он и сам не знал, куда и зачем мчится. Тройка примирителей, прозевав Авдана, вздумала было остановить хотя бы Тотырбека, и, поняв это, Тотырбек отчаянно заорал, подняв над головой ружье, готовый проломить нос первому, кто попытается его задержать. И в решающий момент примирители — ражие дядьки с перекошенными от напряжения мордами — очевидно, дрогнули, потому что клячи их забеспокоились, стали осаживать, а Тотырбек с хрястом, обдирая колени, вдавился в податливый узкий просвет, так и шибаящий потом и страхом, и, через мгновение выдавившись с обратной стороны, снова увидел лоснящийся круп Авдановой кобылки — та выбилась далеко вперед. Провалиться тебе! — подумал Тотырбек про Авдана.

К этому времени тревога среди Церебовых передалась и вперед, и назад. Над дорогой висел гам. Многоглавое змееподобное чудище, наполовину скрытое облаком пыли, суматошливо топталось, взбрыкивало, хрипело, бормотало, ржало, вскрикивало, свистело, материлось — и все спрашивало и спрашивало само себя, в чем дело. И тут, перекрывая все это, раздался властный голос: «Э, головные! Что стали? За Авданом — бего-о-ом!..» И змееподобное чудище, мигом подобравшись, понукая себя криками «Живо! Живо!», устремилось куда было сказано.

Тотырбек с Авданом этого не видели. Идя ноздря в ноздю, они были уже на полпути к передовому отряду примирителей. Оттуда послышались окрики: «Куда?! Осади!» Несколько ружей уставились на скачущих черными немигающими зрачками. Но выстрелов не последовало. Примирители каким-то образом догадались, что дело не в них. Расступившись, они пропустили сначала Авдана с Тотырбеком, затем — и всю остальную братию.

Сразу за Церебовыми, невидимый в пыли, несся хвостовой отряд примирителей. Слившись с передовыми, они, гикая, устремились дальше. По дороге к ним присоединялись те, кому в момент переполоха не повезло находиться в гуще Церебовых, — помогая себе нагайками и матерщиной, Церебовы постепенно вытеснили всех посторонних на обочину.

Никто не понимал, какая муха их укусила. У вытесненных спрашивали на скаку: «Вы им что-то сделали?» — «Какой!» — огрызались те. — «А что тогда?» — «Поди угадай! Гундосый ни с того ни с сего сорвался. Остальные — за ним». — «И всё?» — «И всё!» — «И куда он?» — «Кто?» — «Гундосый — кто!» — «Интересно — догони и спроси!..» Но догнать и спросить Авдана желающих не находилось. Оставалось нестись следом и гадать.

Все разъяснилось, когда достигли Тли.

Церебовские жилища догорали, ни одно не уцелело. Дымные рукава, стелясь по-над лощиной, уползали вверх по склону. Из последних сил лаяли охрипшие псы за соседскими плетнями. Сами соседи, чумазы, как черти в преисподней, растянувшись в несколько цепочек, доставляли ведра с водой к сакле Старика, хотя спасать там было уже нечего. В крайнем дворе, ковыляя туда-сюда вдоль стены, причитала в голос какая-то простоволосая карга. В окошке над ней, за бычьим пузырем, виднелась бледная девичья мордочка, и, замечая ее, карга махала дрожащей рукой: уйди, мол, не смотри. Но девочка, отпрянув всего на секунду, показывалась вновь. Она таращилась на сожженную заставу, где, полускрытые маревом, беспорядочно лежали сторожевые — все как один босые, полуголые, безоружные, с головами, облепленными мухами. Нужно было приглядеться, чтобы понять, что несчастным отрезали уши. Не было ушей и у церебовских женщин, лежащих у крылечек и прямо на улицах. Не было их и у стариков. Не было и у детей. Куда ни посмотри, всюду — безухие неподвижные тела. И всюду — кровь. Местами ее было так много, что в воздухе чувствовался железный привкус.

И ощутивши этот привкус на губах, Церебовы завывали.

Они метались по аулу, ища любимых; катались в пыли, найдя их; просили мертвых ожить; вымаливали у них прощение; рвали на себе бороды, давясь, ели землю; мазали кровью лица; столбенели; грозили небу кулаком; разбивали лбы о стену; с

криком «Проснись!» хлестали себя по щекам; трясли за грудки очевидцев; резали вены; стегали нагайками пустоту перед собой; с кинжалами наголо уходили, шатаясь, в Тиб; упирали в сердце стволы пистолетов; спускали курки; дрались; падали без чувств; вставали; снова падали; и выли, выли, выли...

Уже некоторое время над аулом висела темная курдючная туча. Сделалось невыносимо душно и сумеречно, и в этом душном сумраке нет-нет да погромыхивал гром. К скорчившемуся подле жены Тотырбеку подковыляла вдруг та самая простоволосая карга. На руках она держала запеленатого младенца, ревавшего что есть моченьки. Тотырбек мгновенно узнал и рев, от которого столько раз пробуждался среди ночи, и пеленку, в которую еще утром бедная Тома обернула Заура. Вскочив, он рванулся к карге, отобрал приемыша и стал баюкать, не испытывая ни радости, ни облегчения оттого, что хоть одному Церебову удалось пережить эту бойню.

Карга между тем хнычуще тараторила:

— Как налетели, Тома прибежала ко мне. Мать Майрам¹ мне судья — не могла я взять! Он горланил, а они обшаривали все кругом. А ведь у меня внученька — как ей, глухонемой крохе, доказать, что не ваших она кровей? Как пить дать, закололи б заодно с остальными. Вон Инала как страшно побили! А он всего-то не пускал к себе...

— Где ты его нашла? — спросил Тотырбек.

— У Мурата, у Мурата я нашла! В конуру она его заложила. Собаку-то, Каштара вашего, сразу прибили. Вот Тома и сунула в евонную конуру. А ко входу тушу придвинула — загородила, дабы не услышали.

Тотырбек судорожно выдохнул; он только сейчас заметил, что к пеленке пристала грязная солома.

— Пускай у тебя побудет, — выдавил он, отдавая младенца обратно карге.

— У меня?! — Карга икнула. — Х-х-хорошо... Хорошо, Тото. У меня так у меня... Но ты-то куда? — несмело спросила она, видя, что Тотырбек нагнулся за ружьем, валявшимся на земле. — У дитятки, поди, никого, окромя тебя, и не осталось.

Закинув ружье за спину, Тотырбек молча обошел каргу и двинулся к распахнутой калитке.

— Тото! — испуганно окликнула карга.

Не останавливаясь, он глянул через плечо:

— Смотри! Не убережешь — внуку в реке утоплю.

Карга опять икнула и прошипела ему в затылок какое-то проклятье.

Запретив себе глядеть по сторонам, Тотырбек спустился к заставе, сел на лошадь и тронулся. Никто его не остановил.

Он ехал по пустой дороге, положив ружье на луку, и старался не думать. Перед глазами стояла жена, такая, какой он оставил ее нынче утром, — хлопотливая, с закатанными рукавами, пахнувшая сывороткой и молодым сыром. Живая. Он вез этот образ Тмайновым. Он не знал зачем. Но он догадывался, что они не будут против.

И тут курдючная туча в небе разродилась: выпал град. Лошадь жалобно заржала, стала шарахаться то вправо, то влево. Тотырбек неуклюже спрыгнул с нее, торопливо расседлал и, присев там, где стоял, накрыл седлом голову и плечи. Град усилился. Лошадь, уже не ржа, а дико визжа, усакала прочь. Тотырбек остался совсем один посреди разбушевавшейся стихии, заслонившей мир вокруг сплошной белой завесой. Пропал в завесе и образ жены. Тотырбек сидел, сгорбившийся, оглохший, засыпаемый обжигающе-холодными градинами, и переждал. И когда спустя четверть часа град сменился обыкновенным дождем, он отбросил измятое седло, задрал голову и, открывши рот, стал ловить на язык безвкусные освежающие капли.

¹ Т. е. Богородица; для осетин в первую очередь — покровительница женской плодovitости.